





АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

# ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСТЕРА

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ФЕДЕРАЦИЯ“  
МОСКВА — 1929

Главлит № А—42192.

Тираж 4000 экз.

---

Типография газ. „Правда“. Москва, Тверская, 48.



## ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСТЕРА

Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы. Появляется человек — с тем зорким и до грусти изможденным лицом, который все может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно. Любое изделие, от сковородки до будильника, не миновало на своем веку рук этого человека. Не отказывался он также подкидывать подметки, лить волчью дробь и штамповать поддельные медали для продажи на сельских старшинных ярмарках. Себе же он никогда ничего не сделал — ни семьи, ни жилища. Летом он жил просто в природе, помещая инструмент в мешке, а мешком пользовался как подушкой — более для сохранности инструмента, чем для мягкости. От раннего солнца он спасался тем, что клал себе с вечера на глаза лопух. Зимой же он существовал на остатки летнего заработка, уплачивая церковному сторожу за квартиру тем, что звонил ночью часы. Его ничто особо не интересовало — ни люди, ни природа, — кроме всяких изделий. Поэтому к людям и полям он относился с равнодушной нежностью, не посягая на их интересы. В зимние вечера он иногда делал ненужные вещи: башни из проволоки, корабли из кусков кровельного железа, клеил бумажные дирижабли и прочее — исключительно для собственного удовольствия. Часто он даже задерживал чей-нибудь случайный заказ, — например, давали ему на кадку новые обручи подогнать, а он занимался устройством деревянных часов, думая, что они должны ходить без завода — от вращения земли.

Церковному сторожу не нравились такие бесплатные занятия.

— На старости лет ты побираться будешь, Захар Палыч! Кадка вон который день стоит, а ты о землю деревяшкой касаешься неведомо для чего!

Захар Павлович молчал: человеческое слово для него, что лесной шум для жителя леса — его не слышишь. Сторож шутил и спокойно глядел дальше — в бога он от частых богослужений не верил, но знал наверное, что ничего у Захара Павловича не выйдет: люди давно на свете живут и уже все выдумали.

Через четыре года в пятый село наполовину уходило в шахты и города, а наполовину в леса — бывал неурожай. Издавна известно, что на лесных полянах даже в сухие годы хорошо вызревают травы, овощи и хлеб. Оставшаяся на месте половина деревни бросалась на эти поляны, чтобы уберечь свою зелень от моментального расхищения потоками жадных странников. Но на этот раз засуха повторилась и в следующем году. Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отрядами на большак — один отряд пошел побираться к Киеву, другой — на Луганск на заработки; некоторые же повернули в лес и в заросшие балки, стали есть сырую траву, глину и кору — и одичали. Ушли почти одни взрослые — дети сами заранее умерли, либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно затомили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать.

Была одна старуха — Игнатъевна, которая лечила от голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в состарившийся морщинистый лобик и шептала:

— Отмучился, родимый. Слава тебе, господи!

Игнатъевна стояла тут же:

— Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает...

Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли.

— Возьми себе мою старую юбку, Игнатъевна, — нечего больше дать. Спасибо тебе.

Игнатъевна простирала юбку на свет и говорила;

— Да ты поплачь, Митревна, немножко: так тебе полагается. А юбка твоя ношбная-переношбная; прибавь хоть платочек, ай утюжек подари...

Захар Павлович остался в деревне один — ему понравилось безлюдье. Но жил он больше в лесу, в землянке с одним бобылем, питаясь наваром трав, пользу которых заранее изучил бобыль.

Все время Захар Павлович работал, чтобы забыть голод, и приучился из дерева делать все то же, что раньше делал из металла. Бобыль же всю жизнь ничего не делал — теперь тем более: до пятидесяти лет он только смотрел кругом — как и что, и ожидал, что выйдет, в конце концов, из общего беспокойства, чтобы сразу начать действовать после успокоения и выяснения мира; он совсем не был одержим жизнью, и рука его так и не поднялась ни на женский брак, и ни на какое общепользное деяние. Родившись, он удивился, и так прожил до старости с голубыми глазами на моложавом лице. Когда Захар Павлович делал дубовую сковородку, бобыль поражался, что на ней все равно ничего нельзя изжарить. Но Захар Павлович наливал в деревянную сковородку воды и достигал на медленном огне того, что вода кипела, а сковородка не горела. Бобыль замирал от удивления:

— Могучее дело. Куда же тут, братцы, до всего дознаться!..

И у бобыля опускались руки от сокрушающих всеобщих тайн. Ни разу никто не об'яснил бобылю простоты событий — или он сам был вконец бестолковый. Действительно, иногда Захар Павлович пробовал ему рассказать, отчего ветер дует, а не стоит на месте, но бобыль еще более удивлялся и ничего не понимал, хотя чувствовал происхождение ветра точно.

— Да неужто? Скажи пожалуйста! Стало быть, от солнечного припеку? Милое дело!..

Захар Павлович об'яснил, что припек дело не милое, а просто — жара.

— Жара?! — удивился бобыль. — Скажи пожалуйста, ведьма какая!

У бобыля только переводилось удивление с одной вещи на дру-

гую, но в сознание ничего не превращалось. Вместо ума он жил чувством доверчивого уважения.

За лето Захар Павлович переделал из дерева все изделия, какие знал. Землянка и ее усадебное прилежащее место были уставлены предметами технического искусства Захара Павловича—полный комплект сельскохозяйственного инвентаря, машин, инструментов, предприятий и житейских приспособлений—все целиком из дерева. Странно, что ни одной вещи, повторявшей природу, не было: например, лошади, тыквы или еще чего.

В августе бобыль пошел в тень, лег животом вниз и сказал: — Захар Павлович, я помираю, я вчера ящерицу с'ел... Тебе два грибка принес, а себе ящерицу сжарил. Помахай мне лопухом по верхам — я ветер люблю.

Захар Павлович помахал лопухом, принес воды и попоил умирающего.

— Ведь не умрешь. Тебе только кажется.

— Умру, ей-богу, умру, Захар Павлыч,— испугался солгать бобыль. — Нутрё ничего не держит, во мне глист громадный живет, он мне всю кровь выпил...

Бобыль повернулся навзничь:

— Как ты думаешь, бояться мне, аль нет?

— Не бойся, — положительно ответил Захар Павлович. — Я бы сам хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаешься разными изделиями.

Бобыль обрадовался сочувствию и к вечеру умер без испуга. Захар Павлович во время его смерти ходил купаться в ручей и застал бобыля уже мертвым, задохнувшимся собственной зеленой рвотой. Рвота была плотная и сухая, она тестом осела вокруг рта бобыля, и в ней действовали белые мелкокалиберные черви.

Ночью Захар Павлович проснулся и слушал дождь: второй дождь с апреля месяца. «Вот бы бобыль удивился», — подумал Захар Павлович. Но бобыль мокнул один в темноте ровно льющихся с неба потоков и тихо опухал.

Сквозь сонный, безветренный дождь что-то глухо и грустно

запело — так далеко, что там, где пело, наверно не было дождя и был день. Захар Павлович сразу забыл бобыля и дождь, и голод — и встал. Это гудела далекая машина, живой работающий паровоз. Захар Павлович вышел наружу и постоял во главе теплого дождя, напевающего про мирную жизнь, про обширность долгой земли. Темные деревья дремали, раскорячившись, объятые лаской спокойного дождя; им было так хорошо, что они изнемогали и пошевеливали ветками без всякого ветра.

Захар Павлович не обратил внимания на отраду природы, его разволновал неизвестный смолкший паровоз. Когда он ложился обратно спать, он подумал, что дождь — и тот действует, а я сплю и прячусь в лесу напрасно: умер же бобыль, умрешь и ты; тот ни одного изделия за весь свой век не изготовил — все присматривался да припоровливался, всему удивлялся, в каждой простоте видел дивное дело, и руки не мог ни на что поднять, чтобы чего-нибудь не испортить; только грибы рвал, и то находить их не умел; так и умер, ни в чем не повредив природы.

Утром было большое солнце, и лес пел всею гущею своего голоса, пропуская утренний ветер под исподнюю листву. Захар Павлович заметил не столько утро, сколько смену работников: дождь уснул в почве — его заместило солнце; от солнца же поднялась суета ветра, вз'ерошились деревья, забормотали травы и кустарники, и даже сам дождь, не отдохнув, снова вставал на ноги, разбуженный щекочущей теплотой, и собирал свое тело в облака.

Захар Павлович положил в мешок свои деревянные изделия, сколько их в нем уместилось, и пошел в даль, по грибной бабьей тропинке. На бобыля он не посмотрел: мертвые невзрачны; хотя Захар Павлович знал одного человека, рыбака с озера Мутево, который многих расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства; этот рыбак больше всего любил рыбу, не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти. Он показывал глаза мертвых рыб Захару Павловичу и говорил: «Гляди — премудрость! Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба нет —

она все уже знает». Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же — об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал: «Нет там ничего особого». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав себе ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он вообще не верил в смерть, главное же он хотел посмотреть — что там есть: может быть, гораздо интересней, чем жить в селе или на берегу озера; он видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, — и она его влекла. Некоторые мужики, которым рыбак говорил о своем намерении пожить в смерти и вернуться, отговаривали его, а другие соглашались с ним: «Что ж, испыток не убыток, Митрий Иванович. Пробуй, потом нам расскажешь». Дмитрий Иванович попробовал: его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте.

Сейчас Захар Павлович проходил мимо погоста и искал могилу рыбака в частокле крестов. Над могилой рыбака не было креста: ни одно сердце он не огорчил своею смертью, ни одни уста его не поминали, потому что он умер не в силу немощи, а в силу своего любопытного разума. Жены у рыбака не осталось — он был вдовый, сын же был малолеток и жил у чужих людей. Захар Павлович приходил на похороны и вел мальчишку за руку — ласковый и разумный такой мальчик, не то в мать, не то в отца. Где сейчас этот мальчик? — Наверно, умер первым в эти голодные годы, как круглый сирота. За гробом отца мальчик шел без горя и пристойно.

— Дядя Захар, это отец нарочно так улегся?

— Не нарочно, Сашь, а сдуру — тебя теперь в убыток ввел. Не скоро ему рыбу ловить придется.

— А чего тетки плачут?

— Потому что они хдньжи!

Когда гроб поставили у могильной ямы, никто не хотел прощаться с покойным. Захар Павлович стал на колени и притронулся к щетинистой свежей щеке рыбака, обмытой на озерном дне. Потом Захар Павлович сказал мальчику:

— Попрощайся с отцом — он мертвый на веки веков. Погляди на него — будешь вспоминать.

Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым потом, потому что рубашку надели для гроба — отец утонул в другой. Мальчик пощупал руки, от них несло рыбной сыростью, на одном пальце было надето оловянное обручальное кольцо в честь забытой матери. Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки, как свою защиту; его горе было безмолвным, лишенным сознания остальной жизни и поэтому неутешимым; он так грустил по мертвому отцу, что мертвый мог бы быть счастливым. И все люди у гроба тоже заплакали от жалости к мальчику и от того преждевременного сочувствия самим себе, что каждому придется умереть и так же быть оплаканным.

Захар Павлович, при всей своей скорби, помнил о дальнейшем.

— Будет тебе, Никифоровна, выть-то! — сказал он одной бабе, плакавшей навзрыд и с поспешным причитанием. — Не от горя воешь, а чтоб по тебе поплакали, когда сама помрешь. Ты возьми-ка мальчишку к себе — у тебя все равно их шестеро, один фальшью какой-нибудь между всеми пропитается.

Никифоровна сразу пришла в свой бабий разум и осохла свирепым лицом: она плакала без слез, одними морщинами.

— И то́ будто! Сказал тоже — фальшью какой-то пропитается! Это он сейчас такой, а дай возмужает — как почнет жрать да штаны трепать — не наготовишься!

Взяла мальчика другая баба, Мавра Фетисовна Дванова, у которой было семеро детей. Ребенок дал ей руку, женщина утерла ему лицо юбкой, высморкала его нос и повела сироту в свою хату. Захар Павлович задумался и хотел уйти в босяки, но остался на месте. Его сильно тронуло горе и сиротство — от какой-то неизвестной открывшейся в груди совести; он хотел бы без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами. Но его остановили очередные изделия: староста ему дал чинить стенные часы, а священник — настраивать рояль. Захар Пав-

лович сроду никакой музыки не слышал — видел в уезде однажды граммофон, но его замучили мужики и он не играл: граммофон стоял в трактире, у ящика были поломаны стенки, чтобы видеть обман и того, кто там поет, а в мембрану вдет штопальная игла. За настройкой рояля он просидел месяц, пробуя заунывные звуки и рассматривая механизм, вырабатывающий такую нежность. Захар Павлович ударял по клавише — грустное пение поднималось и улетало; Захар Павлович смотрел вверх и ждал возвращения звука — слышком он хорош, чтобы бесследно растратиться. Священнику надоело ждать настройки, и он сказал: «Ты, дядюшка, напрасно тона не оглашай, ты старайся дело приурочить к концу и не вникай в смысл тебе непотребного». Захар Павлович обиделся до корней своего мастерства и сделал в механизме секрет, который устранить можно в одну секунду, но обнаружить без особого знания нельзя. После поп еженедельно вызывал Захара Павловича: «Иди, друг, иди — опять тайнообразующая сила музыки пропала». Захар Павлович не для попа сделал секрет и не для того, чтобы самому часто ходить наслаждаться музыкой: его растрогало противоположное — как устроено то изделие, которое волнует любое сердце, которое делает человека добрым; для этого он и приладил свой секрет, способный вмешиваться в благозвучность и покрывать его завыванием. Когда, после десяти починок, Захар Павлович понял тайну смешения звуков и устройство дрожащей главной доски, он вынул из рояля секрет и навсегда перестал интересоваться звуками.

Теперь Захар Павлович на-ходу вспоминал прошедшую жизнь и не сожалел о ней. Многие устройства и предметы он лично постиг в утекшие годы и мог их повторить в своих изделиях, если будет подходящий материал и инструменты. Шел он сквозь село ради встречи неизвестных машин и предметов, что гудят за тою чертой, где могучее небо сходится с деревенскими неподвижными угодьями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращается в дожитие.

На сельских улицах пахло гарью — это лежала зола на дороге, которую не разгребли куры, потому что их поели. Хаты стояли пол-



ные бездетной тишины; одичалые, переросшие свою норму, лоухи ожидали хозяев у ворот, на дорожках и на всех обжитых протоптанных местах, где ранее никакая трава не держалась, и покачивались, как будущие деревья. Плетни от безлюдья тоже зацвели: их обвили хмель и повитель, а некоторые колья и хворостины принялись и обещали стать рощей, если люди не вернуться. Дворовые колодцы осохли, — туда свободно, переползая через сруб, бегали ящерицы отдыхать от зноя и размножаться. Захара Павловича еще не мало удивило такое бессмысленное происшествие, что на полях хлеб давно умер, а на соломенных крышах изб зеленела рожь, овес, просо и шумела лебеда: они принялись из зерен в соломенных покрытиях. В село перебрались также полевые светлозеленые птицы, живя прямо в горницах изб; воробьи же снимались с подножия тучами и выговаривали сквозь ветер крыльев свои хозяйские деловые песни.

Минуя село, Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу — он дал из себя отросток шелуги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень над корешком будущего куста. Под лаптем была наверное почва посырее, потому что сквозь него тшилось пролезть множество бледных травинок. Из всех деревенских вещей Захар Павлович особенно любил лапоть и подкову, а из устройства — колодцы. На трубе последней хаты сидела ласточка, которая от зяда Захара Павловича поспешно вошла внутрь трубы и там, во тьме дымохода, обняла крыльями своих потомков.

Вправо осталась церковь, а за ней — чистое знаменитое поле, ровное, словно улегшийся ветер. Малый колокол-подголосок начал звонить и отбил полдень: двенадцать раз. Повитель опутала храм и норовила добраться до креста. Могилы попов у стен церкви занесло бурьяном, и низкие кресты погибли в его чащах. Сторож, отделившись, еще стоял у паперти, наблюдая ход лета; будильник его запутался в многолетнем счете времени, зато старож от старости начал чутить время так же остро и точно, как горе и счастье; что бы он ни делал, даже когда спал (хотя в старости жизнь сильнее сна, — она бдительна и ежеминутна), но истекал час, и сторож чув-

ствовал какую-то тревогу или вожделение, тогда он бил часы и опять затихал.

— Живой еще дедушка? — сказал сторожу Захар Павлович, — Для кого ты сутки считаешь?

Сторож хотел не отвечать: за семьдесят лет жизни он убедился, что половину дел исполнял зря, а три четверти всех слов сказал напрасно: от его забот не выжили ни дети, ни жена, а слова забылись как посторонний шум. «Скажу этому человеку слово, — судил себя сторож, — человек пройдет версту и не оставит меня в вечной памяти своей: кто я ему — ни родитель, ни помощник!»

— Зря работаешь! — упрекнул Захар Павлович.

Сторож на эту глупость ответил:

— Как так — зря? На моей памяти наша деревня десять раз выходила, а потом обратно селилась. И теперь возвернется, долго без человека нельзя.

— А звон твой для чего?

Сторож знал Захара Павловича, как человека, который давал волю своим рукам для всякой работы, но не знавшего цену времени.

— Вот тебе — звон для чего! Колоколом я время сокращаю и песни пою...

— Ну, пой, — сказал Захар Павлович и вышел вон из села.

На отшибе с'ежижась хатка без двора, — видно кто-то наспех женился, поругался с отцом и выселился. Хата тоже стояла пустой и внутри ее было жутко. Одно только на прощанье порадовало Захара Павловича — из трубы этой хаты вырос наружу подсолнух, — он уже возмужал и склонился на восход солнца зреющей головой.

Дорога заросла сухими, обветшалыми от пыли травами. Когда Захар Павлович присаживался покурить, он видел на почве уютные леса, где трава была деревьями: целый маленький живой мир со своими дорогами, своим теплом и полным оборудованием для ежедневных нужд мелких озабоченных тварей. Заглядевшись на муравьев, Захар Павлович держал их в голове еще версты четыре своего пути и, наконец, подумал: «Дать бы нам муравьиный или комариный разум — враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта ме-

лочь — великие мастера дружной жизни; далеко человеку до умельца-муравья».

Появился Захар Павлович на опушке города, снял себе чулан у многолетнего вдовца-столяра, вышел наружу и задумался: чем бы ему заняться?

Пришел с работы столяр-хозяин и сел рядом с Захаром Павловичем.

— Сколько тебе за помещенье платить? — спросил Захар Павлович.

Столяр похрипел горлом, как бы желая смеяться; в голосе его слышна была безнадежность и то особое притерпевшееся отчаяние, которое бывает у кругом и навсегда огорченного человека.

— А ты чем занимаешься? Ничем? Ну, живи так, пока мои ребята тебе голову не оторвали...

Это он сказал верно: в первую же ночь сыновья столяра — ребята от десяти до двадцати лет — облили спящего Захара Павловича своей мочей, а дверь чулана приперли рогачом. Но трудно было рассердить Захара Павловича, никогда не интересовавшегося людьми. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорнице, значит — главное в нем не моча, а ручная умелость.

Через неделю Захар Павлович так заскорбел от безделья, что начал без спроса чинить дом столяра. Он перешил худые швы на крыше, сделал заново крыльцо в сенях и вычистил сажу из дымоходов. В вечернее время Захар Павлович тесал колышки.

— Что ты делаешь? — спрашивал у него столяр, промокая усы хлебной коркой — он только что пообедал: ел картошку и огурцы.

— Может быть, на что годятся, — отвечал Захар Павлович.

Столяр жевал корку и думал.

«Годятся могилы огораживать!.. Мои ребята говели постом — все могилы на кладбище специально обгадили».

Тоска Захара Павловича была сильнее сознания бесполезности

труда, и он продолжал тесать колья до полной ночной усталости. Без ремесла у Захара Павловича кровь от рук прилиwała к голове, и он начал так глубоко думать о всем сразу, что у него выходил один бред, а в сердце поднимался тоскливый страх. Бродя днем по солнечному двору, он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая вонючая тьма. Наблюдая городские дома, Захар Павлович открыл, что они в точности похожи на закрытые гробы, и пугался ночевать в доме столяра. Зверская работоспособная сила, не находя места, ела душу Захара Павловича; он не владел собой и мучился разнообразными чувствами, каких при работе у него никогда не появлялось. Он начал видеть сны: будто умирает его отец-шахтер, а мать поливает его молоком из своей груди, чтобы он жил; но отец ей сердито говорит: «Дай хоть свободно помучиться, стерва», — потом долго лежит и оттягивает смерть; мать стоит над ним и спрашивает: «Скоро ты?»; отец с ожесточением мученика плюет, ложится вниз лицом и напоминает: «Хорони меня в старых штанах, эти Захарке отдашь!».

Единственно, что радовало Захара Павловича, — это сидеть на крыше и смотреть в даль, где в двух верстах от города проходили иногда бешеные железнодорожные поезда. От вращения колес паровоза и его быстрого дыхания у Захара Павловича радостно зудело тело, а глаза взмокали легкими слезами от сочувствия паровозу.

Столяр смотрел-смотрел на своего квартиранта и начал его кормить бесплатно со своего стола. Сыновья столяра бросили в отдельную чашку Захара Павловича на первый раз соплей, но отец встал и сразмаху, без всякого слова, выбил на скуле старшего сына бугор.

— Сам я: человек как человек, — спокойно сказал столяр, сев на свое место, — но, понимаешь ты, такую сволочь нарожал, что того-и-гляди — они меня кончат. Ты посмотри на Федьку! Сядь чортова: и где он себе ряжку налопал, сам не пойму — с малолетства на дешевых харчах сидят...

Начались первые дожди осени — без времени, без пользы: крестьяне давно пропали в чужих краях, а многие умерли на дорогах,

не дойдя до шахт и до южного хлеба. Захар Павлович пошел со столяром на вокзал наниматься: у столяра там был знакомый машинист.

Машиниста они нашли в дежурке, где отсыпались паровозные бригады. Машинист сказал, что народу много, а работы нет; остатки ближних деревень целиком живут на вокзале и делают, что попало за низкий расценки. Столяр вышел и принес бутылку водки и круг колбасы. Выпив водки, машинист рассказал Захару Павловичу и столяру про паровозную машину и тормоз Вестингауза.

— Ты знаешь, инерция какая на уклонах бывает при шестидесяти осях в составе? — возмущенный невежеством слушателей, говорил машинист и упруго показывал руками мощь инерции. — Ого! Откроешь тормозной кран — под тендером из-под колодок синее пламя бьет, вагоны в затылок прут, паровоз дует с закрытым паром — один раз — батом в трубу клокочет! Ух!.. налей! Огурца зря не кушил: колбаса желудок запаковывает...

Захар Павлович сидел и молчал: он заранее не верил, что поступит на паровозную работу — куда ж тут ему справиться после деревенных сковородок!

От рассказов машиниста его интерес к механическим изделиям становился затаенней и грустней, как отказанная любовь.

— А ты что забок? — заметил машинист скорбь Захара Павловича. — Приди завтра в депо, я с наставником поговорю, может в обтирщики возьмут! Не робей, сукин сын, раз есть хочешь...

Машинист остановился, не кончив какого-то слова: у него началась отрыжка.

— Но, дьявол: колбаса твоя задним ходом прет! За гривенник пуд, нищерброд, купил, лучше б я обтирочными концами закусил... Но, — снова обратился машинист к Захару Павловичу, — но паровоз мне делай под зеркало, чтоб я в майских перчатках мог любую часть щупать! Паровоз ни-ка-кой пылинки не любит: машина, брат, — это барышня... Женщина уж не годится — с лишним отверстием машина не пойдет...

Машинист понес в даль отвлеченных слов о каких-то женщинах. Захар Павлович слушал-слушал и ничего не понимал: он не знал,

что женщины можно любить особо и издали; он знал, что такому человеку следует жениться. С интересом можно говорить о сотворении мира и о неизвестных изделиях, но говорить о женщине, как и говорить о мужчинах,— непонятно и скучно. Имел когда-то Захар Павлович жену; она его любила, а он ее не обижал,— но он не видел от нее слишком большой радости. Многими свойствами наделен человек; если страстно думать над ними, то можно ржать от восторга даже собственного ежесекундного дыхания. Но что тогда получится? Затея и игра в свое тело, а не серьезное внешнее существование.

Захар Павлович сроду не уважал таких разговоров.

Через час машинист вспомнил о своем дежурстве. Захар Павлович и столяр проводили его до паровоза, который вышел из-под заправки. Машинист еще издали служебным басом крикнул своему помощнику:

— Как там пар?

— Семь атмосфер,— ответил без улыбки помощник, высовываясь из окна.

— Вода?

— Нормальный уровень.

— Топка?

— Сифоню.

— Отлично.

На другой день Захар Павлович пришел в депо. Машинист-наставник, сомневающийся в живых людях старичок, долго всматривался в него. Он так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда они едут. Если б его воля была, он все паровозы поставил бы на вечный покой, чтоб они не увечились грубыми руками невежд. Он считал, что людей много; машин мало; люди — живые и сами за себя постоят, а машина — нежное, беззащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать — вот тогда человека можно подпускать к машине, и то через десять лет терпения!

Наставник изучал Захара Павловича и мучился:

— Холуй, наверно, — где пальцем надо нажать, эй, скогина, кувалдой саданет, где еле-еле следует стеклышко на манометре протереть, он так надавит, что весь прибор с трубкой сорвет, — разве ж допустимо к механизму пахаря подпускать?! Боже мой, боже мой, — молча, но сердчно сердился наставник, — где вы, старинные механики, помощники, кочегары, обтирщики? Бывало, близ паровоза люди трепетали, а теперь каждый думает, что он умней машины! Оволочи, святотатцы, мерзавцы, холун чертовы! По правилу, надо бы сейчас же остановить движение! Какже нынче механики? Это крушение, а не люди! Это бродяги, наездники, лихачи — им болта в руки давать нельзя, а они уже регулятором орудуют! Я, бывало, когда что-нибудь стучит лишнее в паровозе на ходу, что-нибудь только запоеет в ведущем механизме — так я концом ногтя, не сходя с места, чувствую, дрожу весь от страдания, на первой же остановке губами дефект найду, вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную не поеду... А этот изо ржи да прямо на паровоз хочет!

— Иди домой — рожу сначала умой, потом к паровозу подходи, — сказал наставник Захару Павловичу.

Умывшись, на вторые сутки Захар Павлович явился снова. Наставник лежал под паровозом и осторожно трогал рессоры, легонько постукивая по ним молоточком и прикладываясь ухом к позванивавшему железу.

— Мотя! — позвал наставник слесаря. — Подтяни здесь гаечку на полниточки.

Мотя тронул гайку разводным ключом на полповорота. Наставник вдруг так обиделся, что Захару Павловичу его жалко стало.

— Мотюшка! — с тихой угнетенной грустью сказал наставник, но поскрипывая зубами. — Что ты наделал, сволочь проклятая? Ведь я тебе что сказал: гайку!! Какую гайку? Основную! А ты контргайку мне свернул, и с толку меня сбил! А ты контргайку мне оживаешь! А ты опять-таки контргайку мне трогаешь! Ну, что мне с вами делать, звери вы проклятые? Иди прочь, скотина!

— Давайте я, господин механик, контргайку обратно на полпово-

рота отдам, а основную на полнитки прижму! — попросил Захар Павлович.

Наставник отозвался растроганным мирным голосом, оценив сочувствие к своей правоте постороннего человека:

— А? Ты заметил, да? Он же, он же лесоруб, а не слесарь. Он же гайку, гайку по имени не знает! А? Ну, что ты будешь делать? Он тут с паровозом как с бабой обращается, как со шлюхой какой! Господи боже мой!.. Ну, пойдди, пойдди сюда — поставь мне гаечку по-моему...

Захар Павлович подлез под паровоз и сделал все, точно и как надо. Затем наставник до вечера занимался паровозами и ссорами с машинистами. Когда зажгли свет, Захар Павлович напомнил наставнику о себе. Тот снова остановился перед ним и думал свои мысли.

— Отец машины — рычаг, а мать — наклонная плоскость, — ласково проговорил наставник, вспоминая что-то задушевное, что давало ему покой по ночам. — Попробуй завтра топку чистить — приди во-время. Но не знаю, не обещаю — попробуем, посмотрим. Это слишком сурьезное дело! Понимаешь: топка! Не что-нибудь, а топка! Ну, иди, иди прочь!

Еще одну ночь проспал Захар Павлович в чулане у столяра. а на заре, за три часа до начала работы, пришел в депо. Лежали обкатанные рельсы, стояли товарные вагоны с надписями дальних стран: Закаспийские, Закавказские, Уссурийские железные дороги. Особые странные люди ходили по путям: умные и сосредоточенные — стрелочники, машинисты, осмотрщики и прочие. Кругом были здания, машины, изделия и устройства.

Захару Павловичу представился новый искусный мир — такой давно любимый, будто всегда знакомый, — и он решил навеки удержаться в нем.

\* \*  
\*

За год до недорода Мавра Фетисовна забеременела семнадцатый раз. Ее мужик, Прохор Абрамович Дванов, обрадовался меньше, чем



полагается. Наблюдая ежедневно поля, звезды, огромный текущий воздух, он говорил себе: на всех хватит! И жил спокойно в своей хате, кивающей мелкими людьми — его потомством. Хотя жена родила шестнадцать человек, но уцелело семеро, а восьмым был приемыш — сын утонувшего по своему желанию рыбака. Когда жена за руку привела сироту, Прохор Абрамович ничего против не сказал:

— Ну, что ж: чем ребят гуще, тем старикам помирать надежней... Покорми его, Мавруша!

Сирота поел хлеба с молоком, потом отодвинулся и зажмурился от чужих людей.

Мавра Фетисовна поглядела на него и вздохнула:

— Новое сокрушение господь послал... Помрет недоростком, должно быть: глазами не живуч; только хлеб будет есть напрасно...

Но мальчик не умирал два года и даже ни разу не болел. Ел он мало, и Мавра Фетисовна смирилась с сиротой:

— Ешь, ешь, родимый,— говорила она,— у нас не возьмешь — у других не схватишь...

Прохор Абрамович давно оробел от нужды и детей и ни на что не обращал глубокого внимания — болеют ли дети или рождаются новые, плохой ли урожай или терпимый,— и поэтому он всем казался добрым человеком. Лишь почти ежегодная беременность жены его немного радовала: дети были его единственным чувством прочности своей жизни — они мягкими маленькими руками заставляли его пахать, заниматься домоводством и всячески заботиться. Он ходил, жил и трудился, как сообразный, не имея избыточной энергии для внутреннего счастья и ничего не зная вполне определенно. Богу Прохор Абрамович молился, но сердечного расположения к нему не чувствовал; страсти молодости, в роде любви к женщинам, желанья хорошей пищи и прочее,— в нем не продолжались, потому что жена была некрасива, а пища однообразна и непитательна из года в год. Умножение детей уменьшало в Прохоре Абрамовиче интерес к себе; ему от этого становилось как-то прохладней и легче. Чем дальше жил Прохор Абрамович, тем все терпеливей и безотчетней относился ко всем деревенским событиям. Если бы все дети Прохора Абрамо-

вича умерли в одни сутки, он на другие сутки набрал бы себе столько же приемышей, а если бы и приемыши погибли, Прохор Абрамович моментально бросил бы свою земледельческую судьбу, отпустил бы жену на волю, а сам вышел босым неизвестно куда — туда, куда всех людей тянет, где сердцу, может быть, так же грустно, но хоть ногами отрадно.

Семнадцатая беременность жены огорчила Прохора Абрамовича по хозяйственным соображениям: в эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а главное — не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех лет, которые наступали перед засухой. Это заметила вся деревня, и если тетка Марья ходила порожняя, мужики говорили: «Ну, Марья нынче девкой ходит — летом голод будет».

В этот год Марья тоже ходила худой и свободной.

— Паруешь, Марь Матвевна? — с уважением спрашивали ее прохожие мужики.

— А что ж! — говорила Марья и с непривычки стыдилась своего холостого положенья.

— Ну, ничего, — успокаивали ее. — Глядишь, опять скоро сына почнешь: ты на это ухватлива...

— А чего ж зря-то жить! — смелела Марья. — Лишь бы хлеб был.

— Это-то хоть верно, — соглашались мужики. — Бабе родить не трудно, да хлеб за ней не поспевает... Да ты-то ведьма: ты свою пору знаешь...

Прохор Абрамович сказал жене, что она отяжелела безо времени.

— И-их, Проша, — ответила Марфа Фетисовна, — я рожу, я и с сумой для них пойду — не ты ведь!

Прохор Абрамович умолк на долгое время.

Настал декабрь, а снегу не было — озимые вымерзли. Марфа Фетисовна родила двоешек.

— Снеслась, — сказал у ее кровати Прохор Абрамович. — Ну, и слава богу: что ж теперь делать-то! Должно, эти будут живучие — морщинки на лбу и ручки кулаками.

Приемыш стоял тут же и глядел на непонятное с искаженным постаревшим лицом. В нем поднялась едкая теплота позора за взрослых, он сразу потерял любовь к ним и почувствовал свое одиночество — ему захотелось убежать и спрятаться в овраг. Также ему было одинаково скучно и страшно, когда он увидел склепанных собак — он тогда два дня не ел, а всех собак разлюбил навсегда. У кровати реженицы пахло говядиной и сырым молочным телком, а сама Мавра Фетисовна ничего не чувала от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом — она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвелых страданий и синие толстые жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу; по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с усиленным погоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела.

— Что, Сашь, загляделся? — спросил Прохор Абрамович у ослабевшего приемыша. — Два братца тебе родилось. Отрежь себе хлеба ломоть и ступай бегать — нынче потеплело...

Саша ушел, не взяв хлеба. Мавра Фетисовна открыла белые жидкие глаза и позвала мужа:

— Проша! С сиротой — десять у нас, а ты двенадцатый...

Прохор Абрамович и сам знал счет:

— Пускай живут — на лишний рот лишний хлеб растет.

— Люди говорят, голод будет — не дай бог страсти такой: куда нам деваться с грудными да малолетними?

— Не будет голода, — для спокойствия решил Прохор Абрамович. — Озимые не удадутся, на яровых возьмем.

Озимые и вправду не удались: они подмерзли еще с осени, а весной окончательно задохнулись под полевою наледью. Яровые то пугали, то радовали, но кое-как дозрели, подарив по десяти пудов с десятины. Старшему сыну Прохора Абрамовича было лет одиннадцать и почти столько же приемышу: кто-то один должен идти побираться, чтобы носить семье помощь хлебными сухарями. Прохор Абрамович молчал: своего послать жалко, а сироту — стыдно.

— Что ж ты молчишь-то сидишь? — озлобилась Мавра Фетисовна. — Агапка семилетнего отправила, Мишка Дувакин девочку снарядил, а ты все сидишь, идол беззаботный! Пшена-то до Рождества не хватит, а хлеба со Спаса не видим!..

Весь вечер Прохор Абрамович шил удобный и уемистый мешок из старого рядна. Раза два он подзывал Сашу и примеривал к его плечам:

— Ничего? Тут не тянет?

— Ничего, — отвечал Саша.

Семилетний Прошка сидел рядом с отцом и вдевал суровую нитку в иглу, когда она выскакивала, так как сам отец видел неясно.

— Папаньк, завтра Сашку побираться прогонишь? — спросил Прошка.

— Чего ты болтаешь сидишь? — сердился отец. — Вот ты подрастешь — сам попобираешься.

— Я не пойду, — отказывался Прошка, — я воровать буду. Помнишь, ты говорил — кобылу у дяди Гришки свели? Они свели, им хорошо, а дядя Гришка мерина опять купил. А я вырасту — украду мерина.

На ночь Мавра Фетисовна накормила Сашу лучше своих кровных детей — дала ему отдельно, после всех, кашки с маслом и молока, сколько попьет. Прохор Абрамович принес из риги жердь и, когда все спали, он выделал из нее дорожный посошок. Саша не спал и слушал, как Прохор Абрамович строгаёт палку хлебным ножом. Прошка сопел и ежился от таракана, бродившего у него по шее. Саша снял таракана, но побоялся его убить и бросил с печки на пол.

— Ты, Сашь, не спишь? — спросил Прохор Абрамович, — спи себе, чего ж ты!

Дети просыпались рано, они начинали драться друг с другом в темноте, когда петухи еще дремали, а старики просыпались только по второму разу и чесали пролежни. Ни один замок еще не скрипел на деревне, и ничего не верещало в полях. В такой час Прохор Абрамович вывел приемыща за околицу. Мальчик шел сонный, до-

верчиво ухватив руку Прохора Абрамовича. Было сыро и прохладно: сторож в церкви звонил часы и от грустного гула колокола мальчик заволновался.

Прохор Абрамович наклонился к сироте:

— Саша, ты погляди туда. Вон видишь дорога из деревни на гору пришла — ты все так иди и иди по ней. Увидишь потом громадную деревню и каланчу на бугре, — ты не пугайся, а ступай прямо, это тебе повстречается город, — а там много хлеба на ссыпках. Как наберешь полную сумку — приходи домой отдыхать... Ну, прощай, сынок ты мой!

Саша держал руку Прохора Абрамовича и глядел в серую утреннюю скудость полевой осени.

— Там дожди были? — спросил Саша о далеком городе.

— Сильные! — подтвердил Прохор Абрамович.

Тогда мальчик оставил руку и, не взглянув на Прохора Абрамовича, тихо тронулся один — с сумкой и палкой, разглядывая дорогу на гору, чтобы не потерять своего направления. Мальчик скрылся за церковью и кладбищем, и его долго не было видно. Прохор Абрамович стоял на одном месте и ждал, когда мальчик покажется на той стороне лощины. Одиноким воробьи стозаранку копались на дороге и, видимо, зябли. «Тоже сироты, — думал про них Прохор Абрамович, — кто им кинет чего!»

Саша вошел на кладбище, не сознавая, чего ему хочется. В первый раз он подумал сейчас про себя и тронул свою грудь: вот тут я, — а всюду было чужое и непохожее на него. Дом, в котором он жил, где любил Прохора Абрамовича, Мавру Фетисовну и Прошку, оказался не его домом, — его вывели оттуда утром на прохладную дорогу. В полудетской грустной душе, не разбавленной успокаивающей водою сознания, сжалась полная давящая обида, — он чувствовал ее до горла.

Кладбище было укрыто умершими листьями, по их покою всякие ноги сразу затихали и ступали мирно. Всюду стояли крестьянские кресты, многие без имени и без памяти о покойном. Сашу заинтересовали те кресты, которые были самые ветхие и тоже собирались

упасть и умереть в земле. Могилы без крестов были еще лучше — в их глубине лежали люди, ставшие навеки сиротами: у них тоже умерли матери, а отцы у некоторых утонули в реках и озерах. Могильный бугор отца Саша почти растоптался — через него лежала тропинка, по которой носили новые гробы в глушь кладбища.

Близко и терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно, отсюда не видно мальчика с палкой и нищей сумой.

— Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе — тебе там ведь скучно одному, и мне скучно.

Мальчик положил свой посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился и ждал его.

Саша решил скоро притти из города, как только наберет полную сумку хлебных корок; тогда он выроет себе землянку рядом с могилой отца и будет там жить, раз у него нету дома.

Прохор Абрамович уже заждался приемыша и хотел уходить. Но Саша перешел через протоки балочных ручьев и стал подниматься по глинистому взгорью. Он шел медленно и уже устало, зато радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко, на нем рубашка в теплом поту, у него руки, обнимавшие Сашу в их сне вдвоем на берегу озера; пусть отец мертвый, но он целый, одинаковый и такой же.

«Куда ж у него палка делась?» — гадал Прохор Абрамович.

Утро отсырело, мальчик одолевал скользкий под'ем, припадая к нему руками. Сумка болталась широко и просторно, как чужая одежда.

«Ишь ты, спил я ее как: не по нищему, а по жадности,— поздно упрекал себя Прохор Абрамович.— С хлебом он и не донесет ее... Да теперь все равно: пускай — как-нибудь...».

На высоте перелома дороги на ту, невидимую сторону поля, мальчик остановился. В рассвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом, на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи; высота,

даль, мертвая земля — были влажными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным. Но Саше дорого было узлеть и вернуться в низину села на кладбище — там отец, там тесно, и все — маленькое, грустное и укрытое землею и деревьями от ветра. Поэтому он поскорее пошел в город за хлебными корками.

Прохору Абрамовичу жалко стало сироту, который скрывался сейчас за спуск дороги: «Ослабнет мальчиш от ветра, ляжет в жежевую яму и скончается — белый свет не семейная изба».

Проход Абрамович захотел догнать и вернуть сироту, чтобы умереть всем в куче и в покое, но дома были собственные дети, баба и последние остатки яровых хлебов.

«Все мы хамы и негодяи!» — правильно определил себя Проход Абрамович, и от этой правильности ему полегчало. В хате он молча скучал целые сутки, занявшись ненужным делом — резьбой по дереву. Он всегда при тяжелой беде отвлекался вырезыванием ельничка или несуществующих лесов по дереву — дальше его искусство не развивалось, потому что нож был туп. Мавра Фетисовна плакала с перерывами об ушедшем приеме. У нее умерло восемь человек детей — и по каждому она плакала у печки по трое суток с перерывами. Это было для нее то же, что резьба по дереву для Прохода Абрамовича. Проход Абрамович уже вперед знал, сколько еще времени осталось Мавре Фетисовне плакать, а ему резать неровное дерево: полтора дня.

Прошка глядел-глядел и заревновал родителей:

— Чего плачете? Сашка сам вернется. Ты б, отец, лучше валенки мне скатал — тебе Сашка не сын, а сирота. А ты все ножи сидишь тушишь, старый человек.

— Мои милые! — в удивлении остановилась плакать Мавра Фетисовна, — он как большой балакает — сам гнида, а уж отцу попрек нашел!

Но Прошка был прав: сирота вернулся через две недели. Он так много принес хлебных корок и сухих булок, будто сам ничего не ел. Из того, что он принес, ему тоже ничего не пришлось попробовать, потому что к вечеру Саша лег на печку и не мог согреться —

всю его теплоту из него выдули дорожные ветры. В своем забытьи он бормотал о палке в листьях и об отце: чтоб отец берег палку и ждал его на озере в землянке, где растут и падают кресты.

Через три недели, когда приемыш выздоровел, Прохор Абрамович взял кнут, и пешком пошел в город — стоять на площадях и заниматься на работу.

Прошка два раза ходил следом за Сашей на кладбище. Он увидел, что сирота сам себе руками роет могилу, и не может вырыть глубоко. Тогда он принес сироте отцовскую лопату и сказал, что лопатой рыть легче — все мужики ею роют.

— Тебя все едино прогонят со двора, — сообщил про будущее Прошка. — Отец с осени ничего не сеял, а мамка летом снесется — теперь кабы тронх не родила. Верно тебе говорю!

•Саша брал лопату, но она была ему не под рост, и он скоро слабел от работы.

Прошка стоял, стыл от редких капель едкого позднего дождя и советовал:

— Широко не рой — гроб покупать не на что, так ляжешь. Скорее управляйся, а то мамка родит, а ты липкий рот будешь.

— Я землянку вырою и буду тут жить, — сказал Саша.

— Без наших харчей? — осведомился Прошка.

— Ну да — безо всего. Купырей летом нарву и буду себе есть.

— Тогда живи, — успокоился Прошка. — А к нам побираться не ходи: нечего подавать.

Прохор Абрамович заработал в городе пять пудов муки, приехал на чужой подводе и лег на печку. Когда половину муки съели, Прошка уже думал, что дальше будет.

— Лежень, — сказал он однажды на отца, глядевшего с печки на одинаково кричавших двоешек. — Муку слопаем, а потом с голоду помирать! Нарожал нас — корми теперь!

— Вот остаток от чертей-то! — поругался сверху Прохор Абрамович. — Тебе бы вот отцом-то надо быть, а не мне, мокрый подхлюсток!



Прохор Абрамович слез с печки, обул валенки и поискал чего-то. В хате не было ничего лишнего; тогда Прохор Абрамович взял веник и хлестнул им по лицу Прошка. Прошка не закричал, а сразу лег на лавку вниз лицом. Прохор Абрамович молча начал пороть его, стараясь накопить в себе злобу.

— Не больно, не больно, все равно не больно! — говорил Прошка, не показывая лица.

После порки Прошка поднялся и без передышки сказал:

— Тогда протони Сашку, чтоб лишнего рта не было.

Прохор Абрамович измучился больше Прошки и понуро сидел у люльки с замолкшими двоешками. Он выдрал Прошку за то, что Прошка был прав: Мавра Фетисовна снова затяжелела, озимых же сеять было нечем. Прохор Абрамович жил на свете, как живут травы на дне лощины: на них сверху весной рушатся талые воды, летом — ливни, в ветер — песок и пыль, зимой их тяжело и душно захлобучивает снег; всегда и ежеминутно они живут под ударами и навалом тяжестей, поэтому травы в лощинах растут горбатыми, готовыми склониться и пропустить через себя беду. Так же наваливались дети на Прохора Абрамовича — труднее, чем самому родиться, и чаще, чем урожай. Если б поле рожало, как жена, а жена не свенила со своим плодородием, Прохор Абрамович давно был бы сытым и довольным хозяином. Но всю жизнь ручьем шли дети и, как ил лощину, погребли душу Прохора Абрамовича под глиняными наносами забот, — от этого Прохор Абрамович почти не ощущал своей жизни и личных интересов; бездетные же свободные люди называли такое самозабвенное состояние Прохора Абрамовича ленью.

— Прошь, а Прошь! — позвал Прохор Абрамович.

— Чего тебе? — угрюмо сказал Прошка. — Сам бьешь, а потом Прошей зовешь...

— Прошь, сбегай к тетке Марье, погляди, у ней живот вспух, аль худой. Что-то я давно не встречал ее, либо захворала она?

Прошка был не обидчив и ради своей семьи деловит.

— Мне бы отцом-то быть, а тебе — Прошкой, — оскорбил отца

Прощка.— Чего ей в живот глядеть: озимых не сеял — все одно голода жди.

Одев материну шубунку, Прощка продолжал хозяйственно бурчать:

— Брешут мужики. Летось тетя Марья была порожняя, а дожди были. Вот она и промахнулась — ей бы рожать нахлебника, а она нет.

— Озимья вымерзли, она чуяла,— негромко сказал отец.

— Все детенки матерей сосут, хлеба ничуть не едят,— возразил Прощка.— А мать пускай яровыми кормится... Не пойду я к Марье твоей — будет у ней пузо, ты тогда с печки не слезешь: скажешь — будут травы и яровые хороши. А нам голодать неохота: нарожал нас с мамкой!

Прохор Абрамович молчал. Саша тоже никогда не говорил, когда его не спрашивали. Даже Прохор Абрамович, сам похожий против Прощки на сироту в своем доме, не знал, какой из себя Саша: добрый или нет; ходить побираться он мог от испуга, а что сам думает — не говорит. Саша же думал мало, потому что считал всех взрослых людей и ребят умнее себя, и поэтому боялся их. Больше Прохора Абрамовича он пугался Прощку, который каждую крошку считает и не любит никого из своим двором.

\* \*  
\*

Отставя зад, касаясь травы длинными губительными руками, ходил по селу горбатый человек — Петр Федорович Кондаев. У него давно не было болей в пояснице,— стало быть, перемены погоды не предвиделось.

В тот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело, как в глубоком июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом — прочно успокоившееся пространство смертельной жары. Ребятишки наблюдали горизонты, чтобы во-время заметить выход дождливой тучи. Но на полевых дорогах поднимались вихревые столбы пыли и сквозь них проезжали телеги из чужих деревень. Кондаев шел среди улицы на ту сторону села,

где жила его душевная забота — полудевушка Настя — пятнадцати лет. Он любил ее тем местом, которое у него часто болело и было чувствительно, как сердце у прямых людей, — поясницей, коренным словом своего горба. Кондаев видел в засухе удовольствие и надеялся на лучшее. Руки его были постоянно в желтизне и зелени — он ими губил травы на ходу и растирал их в пальцах. Он радовался голоду, который выгонит всех красивых мужиков далеко на заработки и многие из них умрут, освободив женщин для Кондаева. Под напряженным солнцем, заставлявшим почву гореть и дымить пылью, Кондаев улыбался. Каждое утро он мылся в пруду и ласкал горб ухватистыми надежными руками, способными на неумолимые об'ятия будущей жены.

«Ничего, — довольствовался сам собою Кондаев. — Мужики тронутся. Бабы останутся. Кто меня покушает, тот век не забудет, — я ж сухой бык...».

Кондаев гремел породистыми, длинно отросшими руками и воображал, что держит в них Настю. Он даже удивлялся, почему в Насте — в такой слабости ее тела — живет тайная могучая прелесть. От одной думы о ней он вздувался кровью и делался твердым. Чтобы избавиться от притяжения и ощутительности своего воображения, он плыл по пруду и набирал внутрь столько воды, словно в теле его была пещера, а потом выхлестывал воду обратно вместе со слюной любовной сладости.

Возвращаясь домой, Кондаев каждому встречному мужику советовал уходить на заработки.

— Город как крепость, — говорил Кондаев. — Там всего вполне достаточно, а у нас солнце стоит и будет стоять в упор — какой же тебе урожай! Ты опомнись!

— А ты как же, Петр Федорович? — спрашивал мужик про чужую судьбу, чтобы и себе найти ход.

— Я калека, — сообщал Кондаев. — Я одной жалостью смело могу прожить. А вот ты свою бабу уморишь, желвак-человек! Шел бы в отход, а ей хлеб подводами отправлял — прибыльное дело!

— Да, пожалуй, что так и придется,— нехотя вздыхал встречный, а сам надеялся, что как-нибудь дома проживет: капусткой, ягодкой, грибочками, разной травкой, а там — видно будет.

Кондаев любил старые плетни, ущелья умерших пней, всякую ветхость, жилось и покорную, еле живую теплоту. Тихое зло его похоти в этих одиноких местах находило свою отраду. Он бы хотел всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния, чтобы без препятствия обнимать бессильные живые существа. В тишине утренних теней Кондаев лежал и предвидел полуразрушенные деревни, заросшие улицы и тонкую почерневшую Настю, бредящую от голода в колкой иссохшей соломе. От одного вида жизни, будь она в травинке или в девушке, Кондаев приходил в тихую ревнивую свирепость; если то была трава, он ее до смерти сминал в своих беспощадных любовных руках, чувствующих любую живую вещь так же жутко и жадно, как девственность женщины; если же то была баба или девушка, Кондаев вперед и навеки ненавидел ее отца, мужа, братьев, будущего жениха и желал им погибнуть или отойти на заработки. Второй голодный год поэтому сильно обнадеживал Кондаева — он считал, что скоро один останется в деревне и тогда залютует над бабами по-своему.

От зноя не только растения, но даже хаты и колья в плетнях быстро приходили в старость. Это заметил Саша еще в прошлое лето. Утром он видел прозрачные мирные зори и вспоминал отца и раннее детство на берегу озера Мутево. Под колокол ранней обедни поднималось солнце и в скорое время превращало всю землю и деревню в старость, в запекающуюся сухую злобу людей.

Прошка залезал на крышу, морщился озабоченным лицом и сторожил небо. Утром он спрашивал у отца одно и то же — не болела ли у него поясница, чтобы переменялась погода, и когда будет месяц обмываться.

Кондаев любил ходить по улице в полдень, наслаждаясь остервенением зудящих насекомых. Однажды он заметил Прошку, выскочившего без порток на улицу, потому что ему показалось, что с неба что-то капнуло.

Избы почти пели от страшной, накаленной солнцем, тишины, а солома на крышах почернела и издавала тлеющий запах гари.

— Прощь! — позвал горбатый. — Ты чего небо пасешь? Правда, нынче не особенно холодно?

Прощка понял, что ничего не капнуло — только показалось.

— Иди курей чужих щупать, сломатая калека! — обиделся Прощка, когда разочаровался в капле. — Людям остаток жизни пришел, а он рад. Иди у палашки петуха пощупай!

Прощка попал в Кондаева нечаянно и метко: Кондаев в ответ вскрикнул от чуткой боли и пригнулся к земле, ища камень. Камня не было, и он бросил в Прощку горстью сухого праха. Но Прощка знал все вперед и был уже дома. Горбатый вбежал на двор, шаря на бегу руками по земле. На дороге ему попался Саша, — Кондаев ударил его с навеса суставами пальцев своей худой руки, и у Саши зазвучали кости в голове. Саша упал с полопавшейся кожей под волосами, сразу обмокшими чистой прохладной кровью.

Саша опомнился, но потом снова наполовину забылся и увидел свой сон. Не теряя памяти, что на дворе жарко, что стоит длинный голодный день и что его ударил горбатый, Саша видел отца на озере во влажном тумане: отец скрывался на лодке в мутные места и бросал оттуда на берег оловянное материно кольцо. Саша поднимал кольцо в мокрой траве, а этим кольцом громко бил его по голове горбатый — под треском рассыхающегося неба, из трещин которого вдруг полился черный дождь, — и сразу стало тихо. Но рядом со сном Саша видел продолжающийся день и слышал разговор Прощки с Прохором Абрамовичем.

Кондаев же гнался по гумнам за чужой курицей, пользуясь безлюдьем и другим горем односельчан. Курицу он не поймал — она от страха залетела на уличное дерево. Кондаев хотел трясти дерево, но заметил проезжего и тихо пошел домой, походкой непричастного человека. Прощка сказал правду: Кондаев любил щупать кур и мог это делать долго, пока курица не начинала от ужаса и боли гадить ему в руку, а иногда бывало, что курица преждевременно выпускала жидкое яйцо; если кругом было малоллюдно, Кондаев

плотал из своей горсти недозревшее яйцо, а курице отрывал голову.

Осенью, если был урожайный год, сил в народе оставалось много, и взрослые вместе с ребятами занимались тем, что донимали горбатого:

— Петр Федорыч, пощупай нашего петушка, ради бога!

Кондаев не переносил надруганья и гнался за обидчиками до тех пор, пока не ловил какого-нибудь подростка и не причинял ему легкого увечья.

Саша видел снова один старый день. Ему давно представлялась жара в виде старика, а ночь и прохлада — в виде маленьких девочек и ребят.

В избе было открыто окно и около печки безвыходно металась Мавра Фетисовна. При всей привычке рожать, ей что-то надоедало внутри.

— Тошнит меня! Трудно мне, Прохор Абрамыч!.. Ступай за бабкой.

Саша не поднимался из травы до самого звона к вечерне, до длинных грустных теней. Окна в избе заперли и завесили. Бабка вынесла на двор лоханку и выплеснула что-то под плетень. Туда побежала собака и с'ела все, кроме жидкости. Прошка давно не выходил, хотя он был дома. Другие дети гоняли где-то по чужим дворам. Саша боялся подниматься и идти в избу не во-время. Тени трав сплотились, легкий низовой ветер, дувший весь день, остановился; бабка вышла в повязанном платке, помолилась с крыльца на темный восток и ушла. Наступила покойная ночь. Сверчок в завалинке попробовал голос и потом надолго зашел. обволаживая своею песнью двор, травы и отдаленную изгородь в одну детскую родину, где лучше всего жить на свете. Саша смотрел на измененные тьмою, но еще больше знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саяей, и ему было жалко их, что они такие же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда умрут.

Саша думал, что если он уйдет отсюда, то без него всему двору станет еще более скучно жить на одном месте, и Саша радовался, что он здесь нужен.

В избе зарыдал новый младенец, заглушая своим голосом, не похожим ни на какое слово, устоявшуюся песню сверчка. Сверчок смолк, тоже наверное слушая пугающий крик. Наружу вышел Прошка с мешком Сашки, с каким сироту посылали осенью побираться, и с шапкой Прохора Абрамовича.

— Сашка! — прокричал Прошка в ночной задыхающийся воздух. — Беги сюда скорей, дармоед!

Саша был около.

— Чего тебе?

— На, держи, тебе отец шапку подарил. А вот тебе мешок — ходи и не сымай, что наберешь — сам ешь, нам не носи.

Саша взял шапку и мешок.

— А вы тут одни жить останетесь? — спросил Саша, не веря, что его здесь перестали любить.

— А то нет? Знамо, одни! — сказал Прошка. — Опять нахлебник у нас родился; кабы не он, ты бы задаром жил! А теперь ты нам никак не нужен — ты одна обуза, мамка, ведь, тебя не рожала, ты сам родился...

Саша пошел за калитку; Прошка постоял один и вышел за ворота — напомнить, чтобы сирота больше не возвращался. Сирота никуда еще не ушел — он смотрел на маленький огонь на ветряной мельнице.

— Сашка! — приказал Прошка. — Ты к нам больше не приходи. Хлеб тебе в мешок положили, шапку подарили — ты теперь ступай. Хочешь, на гумне переночуй, а то — ночь. А больше под окна не показывайся, а то отец опомнится...

Саша пошел по улице в сторону кладбища. Прошка затворил ворота, оглядел усадьбу и поднял бесхозяйственную жердь.

— Ну, никак нету дождей! — пожилым голосом сказал Прошка и плюнул сквозь переднюю щербину рта. — Ну, никак: хоть ты тут ляжь и рашшибись об землю, идол ее намочи!

Саша прокрался к могиле отца и залег в недорытой пещерке. Среди крестов он боялся идти, но близ отца уснул так же спокойно, как когда-то в землянке, на берегу озера.

Позже на кладбище приходили два мужика и негромко обламывали кресты на топливо, но Саша, унесенный сном, ничего не слышал.

\* \*  
\* \*

Захар Павлович жил, ни в ком не нуждаясь: он мог часами сидеть перед дверцей паровозной топки, в которой горел огонь.

Это заменяло ему великое удовольствие дружбы и беседы с людьми. Наблюдая живое пламя, Захар Павлович сам жил — в нем думала голова, чувствовало сердце и все тело тихо удовлетворялось. Захар Павлович уважал уголь, фасонное железо, — всякое спящее сырье и полуфабрикат, но действительно любил и чувствовал лишь готовое изделие, — то, во что превратился посредством труда человек и что дальше продолжает жить самостоятельной жизнью. В обеденные перерывы Захар Павлович не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе любовь к нему. В свое жилище он наносил болтов, старых вентиляй, краников и прочих механических изделий. Он расставил их в ряд на столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от одиночества. Одиноким Захар Павлович и не был — машины были для него людьми и постоянно возбуждали в нем чувства, мысли и пожелания. Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захара Павловича озаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил ночью глядеть на звезды — просторен ли мир, хватит ли места колесам вечно жить и вращаться? Звезды увлеченно светились, но каждая в одиночестве. Захар Павлович подумал, на что похоже небо? И вспомнил про узловую станцию, куда его посылали за бандажами. С платформы вокзала виднелось море одиноких сигналов, — то были стрелки, семафоры, перепутья, огни предупреждений и сияние прожекторов бегущих паровозов. Небо было таким же, только отдаленней и как-то налаженней в отношении спокойной работы. Потом Захар Павлович стал на-глаз считать версты до синей меняющейся звезды: он расставил руки масштабом и умственно прикладывал этот масштаб к пространству. Звезда горела на двухсотой версте.



Это его беспокоило, хотя он читал, что мир бесконечен. Он хотел бы, чтобы мир действительно был бесконечен, дабы колеса всегда были необходимы и изготовлялись бесперерывно на общую радость, но никак не мог почувствовать бесконечности.

— Сколько верст — неизвестно, потому что далече! — говорил Захар Павлович. — Но где-нибудь есть тупик и кончается последний вершок... Если бы бесконечность была на самом деле, она бы распустилась сама по себе в большом просторе и никакой твердости не было бы... Ну, как — бесконечность? Тупик должен быть!

Мысль, что колесам в конце концов работы не хватит, волновала Захара Павловича двое суток, а затем он придумал растянуть мир, когда все дороги до тупика дойдут, — ведь пространство тоже возможно нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо, — и на этом успокоился.

Машинист-наставник видел любовную работу Захара Павловича, — топки очищались им без всяких повреждений металла и до сияющей чистоты, — но никогда не говорил Захару Павловичу доброго слова. Наставник отлично знал, что машины живут и движутся скорее по своему желанию, чем от ума и умения людей; люди здесь не при чем. Наоборот, доброта природы, энергии и металла портит людей. Любой холуй может огонь в топке зажечь, но паровоз поедет сам, а холуй — только груз. И если дальше техника так податливо пойдет, то люди от своих сомнительных успехов вырождаются в ржавчину, — тогда их останется передавить работоспособными паровозами и дать машине волю на свете. Однако наставник ругал Захара Павловича меньше других — Захар Павлович бил молотком всегда с сожалением, а не с грубой силой, не плевал на что попало, находясь на паровозе, и не царапал беспощадно тела машин инструментами.

— Господин наставник! — обратился раз Захар Павлович, осмелев, ради любви к делу. — Позвольте спросить: отчего человек — так себе: ни плох, ни хорош, а машины равномерно знамениты?

Наставник слушал сердито — он ревновал к посторонним паровозы, считая свое чувство к ним личной привилегией.

— Серый чорт, — говорил для себя наставник, — тоже понадобились ему механизмы: господи боже мой!

Против обоих людей стоял паровоз, который разогревали под ночной скорый поезд. Наставник долго смотрел на паровоз и наполнялся обычным радостным сочувствием. Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на гармонических перевалах своего величественного высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг. Ворота депо были открыты в вечернее пространство лета — в смуглое будущее, в жизнь, которая может повториться на ветру, в стихийных скоростях на рельсах, в самозабвении ночи, риска и нежного гула точной машины.

Машинист-наставник сжал руки в кулаки от прилива какой-то освященной крепости внутренней жизни, похожей на молодость и на предчувствие гремящего будущего. Он забыл про низкую квалификацию Захара Павловича и ответил ему, как равному другу:

— Ты вот поработал и поумнел! Но человек — чушь! Он дома валяется и ничего не стоит... Но ты возьми птиц...

Паровоз засифонил и заглушил слова беседы. Наставник и Захар Павлович вышли на вечерний звучный воздух и пошлп сквозь строй остывших паровозов.

— Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается: потому что они не работают! Видел ты труд птиц? Нету его! Ну, по пице, жилищу они кое-как хлопочут, — ну, а где у них инструментальные изделия? Где у них угол опережения своей жизни? Нету и быть не может.

— А у человека что? — не понимал Захар Павлович.

— А у человека есть машины! Понял? — Человек — начало для всякого механизма, а птицы — сами себе конец.

Захар Павлович думал с наставником одинаково, затрудняясь лишь в подборе необходимых слов, что надоедливо тормозило его размышления. Для обоих — и для машиниста-наставника, и для Захара Павловича — природа, не тронутая человеком, казалась мало прелестной и мертвой: будь то зверь или дерево. Зверь и дерево не возбуждали в них сочувствия своей жизни, потому что

никакой человек не принимал участия в их изготовлении, — в них не было ни одного сознательного удара и точности мастерства. Они жили самостоятельно, мимо опущенных глаз Захара Павловича. Любые же изделия — особенно, металлические, — наоборот, существовали оживленными и даже были, по своему устройству и силе, интересней и таинственней человека. Захар Павлович много наслаждался одной постоянной мыслью: какой дорогой подспудная кровная сила человека об'является вдруг в волнующих машинах, которые и по размеру и по смыслу больше мастеровых.

И выходило действительно так, как говорил машинист-наставник: в труде каждый человек превышает себя — делает изделия лучше и долговечней своего житейского значения. Кроме того, Захар Павлович наблюдал в паровозах ту же самую горячую взволнованную силу человека, которая в рабочем человеке молчит без всякого исхода. Обыкновенно, слесарь хорошо разговаривает, когда напьется, в паровозе же человек всегда чувствуется большим и страшным.

Однажды Захар Павлович долго не мог сыскать нужного болта, чтобы прогнать резьбу в сорванной гайке. Он ходил по депо и спрашивал: нет ли у кого болта в три осьмушки — под резьбу. Ему говорили, что нет такого болта, хотя такие болты были у каждого. Но дело в том, что на работе слесаря скучали и развлекались взаимным осложнением рабочих забот. Захар Павлович еще не знал того хитрого скрытого веселья, которое есть в любой мастерской. Это негромкое издевательство позволяло остальным мастеровым одолевать долготу рабочего дня и тоску повторительного труда. Во имя забавы своих соседей, Захар Павлович много дел сработал напрасно. Он ходил за обтирочными концами на склад, когда они лежали горой в конторе; делал деревянные лесенки и бидоны для масла, в избытке имевшиеся в депо; даже хотел, по чужому наущению, самостоятельно менять контрольные пробки в котле паровоза, но был во-время предупрежден одним случайным кочегаром, — иначе бы Захара Павловича уволили без всякого слова.

Захар Павлович, не найдя в этот раз подходящего болта, при-

нялся приспособлять для прогонки гаечной резьбы один штырь, и приспособил бы, потому что никогда не терял терпения, но ему сказали:

— Эй, Три Осьмушки Под Резьбу, иди возьми болт!

С того дня Захар Павловича звали прозвищем «Три Осьмушки Под Резьбу», но зато его реже обманывали при срочной нужде в инструментах.

После никто не узнал, что Захару Павловичу имя Трех Осьмушек Под Резьбу понравилось больше крестного: оно было похоже на ответственную часть любой машины и как-то телесно приобщало Захара Павловича к той истинной стране, где железные дюймы побеждают земляные версты.

\* \*  
\*

Когда Захар Павлович был молодым, он думал, что вырастет и поумнеет. Но жизнь прошла без всякого отчета и без остановки, как сплошное увлечение; ни разу Захар Павлович не ощутил времени, как встречной твердой вещи, — оно для него существовало лишь загадкой в механизме будильника. Но когда Захар Павлович узнал тайну маятника, то увидел, что времени нет, есть равномерная тугая сила пружины. Но что-то тихое и грустное было в природе — какие-то силы действовали невозвратно. Захар Павлович наблюдал реки — в них не колебались ни скорость, ни уровень воды, и от этого постоянства была стеснительная тоска. Были конечно, полые воды, падали душные ливни, захватывал дыхание ветер, но больше действовала тихая равнодушная жизнь — речные потоки, рост трав, смена времен года. Захар Павлович полагал, что эти равномерные силы всю землю держат в оцепенении, — они с заднего хода доказывали уму Захара Павловича, что ничего не изменяется к лучшему — какими были деревни и люди, такими и останутся. Ради сохранения равновесия в природе, беда для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай — мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы, —

но эта судьба не прошла навеки, а снова теперь возвратилась ради точности хода всеобщей жизни.

Сколько ни жил Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет — остается ровно таким же, каким был в десять или пятнадцать лет. Лишь некоторые его прежние предчувствия теперь стали обыкновенными мыслями, но от этого ничего к лучшему не изменилось. Свою будущую жизнь он раньше представлял синим глубоким пространством — таким далеким, что почти бессмертным. Но Захар Павлович знал вперед, что чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет уменьшаться, а позади — удлиняться мертвая растоптанная дорога. И он обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее вперед тоже росло и простиралось — глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар Павлович отступал от конца своей жизни, либо увличивал свои надежды и веру в нее.

Видя свое лицо в стекле паровозных фонарей, Захар Павлович говорил себе: «Удивительно, я скоро умру, а все тот же».

Под осень участились праздники в календаре: раз случился три праздника под-ряд. Захар Павлович скучал в такие дни и уходил далеко по железной дороге, чтобы видеть поезда на полном ходу. По дороге ему пришло желание побывать в поселке на шахтах, где схоронена его мать. Он помнил точно место похорон и чужой железный крест рядом с безыменной, безответной могилой матери. На том кресте сохранилась ржавая, почти исчахшая вековая надпись о смерти Ксении Федоровны Прошниковой в 1813 году от болезни холеры, 18 лет и 3 месяцев от роду. Там было еще запечатлено: «Спи с миром, любимая дочь, до встречи младенцев с родителями».

Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать — на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины. Он и сейчас не прочь бы иметь живую мать, потому что не чувствовал в себе особой разницы с детством. И тогда, в том голубом тумане раннего возраста, он любил гвозди на заборе, дым придорожных кузниц и колеса на телегах, — за то, что они вертелись.

Куда бы ни уходил из дома маленький Захар Павлович, он знал, что есть мать, которая его вечно ждет, и он ничего не боялся.

Линию железной дороги защищал с обеих сторон кустарник. Иногда в тени кустарника сидели нищие; они либо ели, либо переобувались. Они видели, как с большими скоростями вели поезда торжествующие паровозы. Но ни один нищий не знал, отчего едет сам паровоз. Даже более простое соображение — для какого счастья они живут — тоже не приходило в голову нищим. Какая вера — надежда — любовь давала силу их ногам на песчаных дорогах, — ни одному подающему милостыню не было известно. Захар Павлович опускал иногда в протянутую руку две копейки, без рассуждения оплачивая то, чего нищие были лишены и чем он был вознагражден — понимание машин.

На откосе сидел лохматый мальчик и сортировал подавание: плесень откладывал отдельно, а более свежее — в сумку. Мальчик был телом худ, но лицом бодр и озабочен.

Захар Павлович остановился, покуривая на свежем воздухе ранней осени.

— Отбраковываешь?

Мальчик не понял технического слова.

— Дядь, дай копейку, — сказал он, — иль докурить оставь.

Захар Павлович вынул пятак.

— Ты, небось, жулик и охальник, — без зла сказал он, уничтожая добро своего подаяния грубым словом, чтобы самому не было стыдно.

— Не, я не жулик, я — побирушка, — ответил мальчик, утробовывая корки в мешке. — У меня мать-отец есть, только они от голода ссырились.

— А куда же ты пуд харчей запаковал?

— Домой собираюсь наведаться. Вдруг мать с ребятишками пришла — чего тогда им есть?

— А ты сам-то чей?

— Я отцовский, я не круглая сирота. Вон те — все жулики, а меня отец порол.

Мальчик загорюнился от недовольства на отца. Пятак он давно спрятал в кисет, висящий на шее; в кисете было еще порядочно медных денег.

— Уморился, небось?—спросил Захар Павлович.

— Ну да уморился,—согласился мальчик.—Разве у вас, чертей, сразу напобираешься? Брешешь, брешешь, аж есть захочешь! Пятак подал, а самому, должно, жалко! Я б ни за что не дал.

Мальчик взял заплесневелый ломоть из шучки порченого хлеба; очевидно, лучший хлеб он сносил в деревню родителям, а плохой ел сам. Это мгновенно понравилось Захару Павловичу.

— Небось, отец тебя любит?

— Ничего он не любит — он лежень. Я мать больше люблю.

— А отец твой кто?

— Дядя Прошка. Я ведь не здешний...

В памяти Захара Павловича нечаянно встал подсолнух, фастуций из дымохода покинутой хаты, и рощи бурьяна на деревенской улице.

— Так ты Прошка Дванов, сукин сын!

Мальчик вывалил изо рта непрожеванную хлебную зелень, но не бросил ее, а положил на мешок: потом дожует.

— А ты нито дядя Захарка?

— Он!

Захар Павлович сел. Он теперь почувствовал время, как путешествие Прошки от матери в чужие города. Он увидел, что время—это движение горя и такой же осязательный предмет, как любое вещество, хотя бы и негодное в отделку.

Какой-то малый, похожий на лишенного звания монастырского послушника, не прошел мимо своей дорогой, а сел и уставился глазами на двоих собеседников. Губы у него были красные, сохранившиеся с младенчества одутловатую красоту, а глаза смиренные, но без резкого ума,—таких лиц не бывает у простых людей, привыкших перехитрять свою непрерывную беду.

Прошка взволновал прохожий—особенно своими губами.

— Чего губы оттопырил? Руку мою поцеловать хочешь?

Послушник поднялся и пошел в свою сторону, про которую и сам точно не знал—где она находится.

Прощка это сразу почувял и сказал вслед послушнику:

— Пошел. А куда пошел—сам не знает. Поверни его—он назад пойдет: вот черти-нахлебники!

Захар Павлович немного смущался раннего разума Прощки.— сам он поздно освоился с людьми и долго считал их умнее себя.

— Прощь!—спросил Захар Павлович.—А куда девался маленький мальчик—рыбацкая сирота? Его твоя мать подобрала.

— Сашка, что ль?—догадался Прощка.—Он вперед всех из деревни убер! Это такой сатаноид—житья от него не было! Украл последнюю коврежку хлеба и скрылся на ночь! Я гнался-гнался за ним, а потом сказал: пускай, и ко двору воротился...

Захар Павлович поверил и задумался.

— А где отец твой?

— Отец в отход ушел. А мне все семейство кормить наказал. Набрал я по людям хлеба, пришел на свою деревню, а там ни матери, ни ребят. А вместо народа крапива в хатах растет...

Захар Павлович отдал Прощке полтинник и попросил навеститься еще, когда будет в городе.

— Ты бы мне картуз отдал!—сказал Прощка.—Тебе все равно ничего не жалко. А то мне голову дожди моют, я могу остудиться.

Захар Павлович отдал фуражку, сняв с нее железнодорожный значок, который ему был дороже головного убора.

Прошел поезд дальнего следования, и Прощка поднялся поскорей уходить, чтобы Захар Павлович не отнял обратно денег и фуражки. Картуз Прощке пришлось на лохматую голову как раз, но Прощка его только померил, а затем снял и завязал в сумку с хлебом.

— Ну, прощай. Иди с богом,—сказал Захар Павлович.

— Тебе хорошо говорить—ты всегда с хлебом,—упрекнул Прощка.—А у нас и того нет.

Захар Павлович не знал, что дальше сказать—денег у него больше не было.



— Намедни я Сашку в городе встретил,—проговорил Прошка.— Тот, идол, совсем скоро издохнет: никто ему ничего не подает, он побираться не смел. Я ему дал порцию, а сам не ел. Ты, небось, мамке его подкинул—теперь давай денег за Сашку!—кончил Прошка серьезным голосом.

— Ты Сашку как-нибудь ко мне приведи,—ответил Захар Павлович.

— А что дашь?—заранее спросил Прошка.

— Получка будет—рублевку дам.

— Ладно,—сказал Прошка.—Это я тебе его приведу. Только ты его не приучай, а то он тебя охомукает.

Прошка пошел не туда, где была дорога на его деревню. Наверно, у него имелись свои расчеты и свои дальновидные планы на хлебные доходы.

Захар Павлович последил за ним глазами и с чего-то усомнился в драгоценности машин и изделий выше любого человека.

Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы. Прошка шел пешком по железной дороге—по ней ездили другие; она его не касалась и не помогала ему. Он смотрел на мосты, рельсы и паровозы одинаково безучастно как на придорожные деревья, ветры и пески. Всякое искусственное сооружение для Прошки было лишь видом природы на чужих земельных наделах. Посредством своего живого рассуждающего ума Прошка кое-как напряженно существовал. Едва ли он полностью чувствовал свой ум—это видно из того, что он говорит неожиданно, почти бессознательно и сам удивляется своим словам, разум которых выше его детства.

Прошка пропал на закрутлении линии—один, маленький и без всякой защиты. Захар Павлович хотел вернуть его к себе навсегда, но далеко было догонять.

Утром Захару Павловичу не так хотелось идти на работу, как обыкновенно. Вечером он затосковал и лег сразу спать. Болты, краны и старые манометры, что всегда хранились на столе, не могли

рассеять его скуки—он глядел на них и не чувствовал себя в их обществе. Что-то сверлило внутри его, словно скрежетало сердце на обратном, непривычном ходу. Захар Павлович никак не мог забыть маленького худого тела Прошки, бредущего по линии в даль, загроможденную крупной, будто обвалившейся природой. Захар Павлович думал без ясной мысли, без сложности слов,—одним нагревом своих впечатлительных чувств, и этого было достаточно для мучений. Он видел жалобность Прошки, который сам не знал, что ему худо, видел железную дорогу, работающую отдельно от Прошки и от его хитрой жизни, и никак не мог понять—что здесь отчего, только скорбел без имени своему горю.

На следующий день—третий после встречи Прошки—Захар Павлович не дошел до депо. Он снял номер в проходной будке и затем повесил его обратно. День он провел в овраге, под солнцем и паутиной бабьего лета. Он слышал гудки паровозов и шум их скорости, но не вылезал глядеть, не чувствуя больше уважения к паровозам.

Рыбак утонул в озере Мутево, бобыль умер в лесу, пустое село заросло кущами трав, но зато шли часы церковного сторожа, ходили поезда по расписанию—и было теперь Захару Павловичу скучно и стыдно от правильности действий часов и поездов.

«Что бы наделал Прошка в моих летах и разуме?—обсуждал свое положение Захар Павлович.—Он бы нарушил что-нибудь, сукин сын!.. Хотя Сашка и при его царстве побирался бы».

Тот теплый туман любви к машинам, в котором покойно и надежно жил Захар Павлович, сейчас был разнесен чистым ветром, и перед Захаром Павловичем открылась беззащитная одинокая жизнь людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин.

Машинист-наставник понемногу перестал ценить Захара Павловича.

— Я,—говорит,—серьезно допустил, что ты отроде старинных мастеров, а ты так себе—чернорабочая сила, шлак из-под бабы.

Захар Павлович от душевного смущенья, действительно, терял свое усердное мастерство. Из-за одной денежной платы оказалось

трудным правильно ударить даже по шляпке гвоздя. Машинист-наставник знал это лучше всех—он верил, что когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчетной бесплатной натуры станет одной денежной нуждой, тогда наступит конец света, даже хуже конца: после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров.

\* \*  
\*

Сын рыбака был настолько кроток, что думал, что все в жизни происходит взаправду. Когда ему отказывали в подаении, он верил, что все люди не богаче его. Спасся от смерти он тем, что у одного молодого слесаря заболела жена, и слесарю не с кем было оставлять жену, когда он уходил на работу. А жена его боялась одна оставаться в комнате и слишком скучала. Слесарно поправились какая-то прелесть в почерневшем от усталости мальчугане, нищенствовавшем без всякого внимания к подаению. Он его посадил дежурить около больной женщины, которая ему не перестала быть милее всех.

Саша целыми днями сидел на табуретке, в ногах больной, и женщина ему показалась такой же красивой, как его мать в воспоминаниях отца. Поэтому он жил и помогал больной с беззаветностью позднего детства, никем раньше не принятого. Женщина полюбила его и называла Александром, не привыкнув быть госпожой. Но скоро она выздоровела, и ее муж сказал Саше:

— На тебе, мальчик, двадцать копеек, ступай куда-нибудь.

Саша взял непривычные деньги, вышел на двор и зашпакал. Близ уборной, верхом на мусоре, сидел Прошка и копался руками под собой. Он теперь собирал кости, тряпки и жесь, курил и постарел лицом от праховой пыли мусорных куч.

— Ты опять плачешь, гундосый чорт?—не прерывая работу, спросил Прошка.—Пойди поройся, а я чаю попить сбегая: нынче соленое ел.

Но Прошка пошел не в трактир, а к Захару Павловичу. Тот читал книгу вслух от своей малограмотности: «Граф Виктор положил

руку на преданное, храброе сердце и сказал: я люблю тебя, дорогая...».

Прошка сначала послушал,—думал, что это сказка, а потом разочаровался и сразу сказал:

— Захар Палыч, давай рубль, я тебе сейчас Сашку-сироту приведу!

— А?!—испугался Захар Павлович. Он обернулся своим печальным старым лицом, которое бы и теперь любила жена, если бы она жива была.

Прошка снова назначил цену за Сашку, и Захар Павлович отдал ему рубль, потому что он был теперь и Сашке рад. Столяр съехал с квартиры на шпалопропиточный завод, и Захару Павловичу досталась пустота двух комнат. В последнее время, хотя и беспокойно, но забавно было жить с сыновьями столяра; они возмужали настолько, что не знали места своей силе и несколько раз нарочно поджигали дом, но всегда живьем тушили огонь, не дав ему полностью разгореться. Отец на них сердчал, а они говорили ему:

— Чего ты, дед, огня боишься? Что сгорит, то не сгниет! Тебя бы, старого, сжечь надо—в могиле гнить не будешь и не провянешь никогда!

Перед отъездом сыновья повалили будку уборной и отрубили хвост дворовому псу.

Прошка не сразу отправился к Сашке: сначала он купил пачку папирос «Землячок» и запросто побеседовал с бабами в лавке. Потом Прошка возвратился к мусорной куче.

— Сашка,—сказал он.—Пойдем, я тебя отведу, чтобы ты больше мне не навязывался!

\* \*  
\*

В следующие годы Захар Павлович все ближе приходил в упадок. Чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу—жену Дарью Степановну. Ему легче было полностью не чувствовать себя: в депо мешала работа, а дома зудела жена. В сущности, такая двух-

сменная суета была несчастьем Захара Павловича, но если бы она исчезла, то Захар Павлович ушел бы в босяки. Машины и изделия его уже перестали горячо интересоваться: во-первых, сколько ни работал он, все равно люди жили бедно и жалобно; во-вторых, мир завлакивался какой-то равнодушной трезой,—наверно, Захар Павлович слишком утомился и действительно предчувствовал свою тихую смерть. Так бывает под старость со многими мастеровыми: твердые вещества, с которыми они имеют дело целые десятилетия, тайно обучают их непреложности всеобщей гибельной судьбы. На их глазах выходят из строя паровозы, преют годами под солнцем, а потом идут в лом. В воскресные дни Захар Павлович ходил на реку ловить рыбу и додумывать последние мысли.

Дома его утешением был Саша. Но и на этом утешении мешала сосредоточиться постоянно недовольная жена. Может быть, это вело к лучшему: если бы Захар Павлович мог до конца сосредоточиться на увлекавших его предметах, он бы, наверное, заплакал.

В такой рассеянной жизни прошли целые годы. Иногда, наблюдая с койки читающего Сашу, Захар Павлович спрашивал:

— Сашь, тебя ничего не мучает?

— Нет, — говорил Саша, привыкший к обычаям приемного отца.

— Как ты думаешь,—продолжал свои сомнения Захар Павлович,—всем обязательно нужно жить или нет?

— Всем,—отвечал Саша, немного понимая тоску отца.

— А ты нигде не читал: для чего?

Саша оставлял книгу.

— Я читал, что чем дальше, тем лучше будет жить.

— Ага!—доверчиво говорил Захар Павлович.—Так и напечатано?

— Так и напечатано.

Захар Павлович вздыхал:

— Все может быть. Не всем дано знать.

Саша уже год работал учеником в депо, чтобы выучиться на слесаря. К машинам и мастерству его влекло; но не так, как Захара Павловича. Его влечение не было любопытством, которое конча-

лось вместе с открытием секрета машины. Сашу интересовали машины наравне с другими действующими и живыми предметами: он скорее хотел почувствовать их, пережить их жизнь, чем узнать. Поэтому, возвращаясь с работы, Саша воображал себя паровозом и производили все звуки, какие издает паровоз на ходу. Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят, и это сознание общности с курами или паровозом давало ему удовлетворение. Саша не мог поступить в чем-нибудь отдельно: сначала он искал подобие своему поступку, а затем уже поступал, но не по своей необходимости, а из сочувствия чему-нибудь или кому-нибудь.

«Я так же, как он»,—часто говорил себе Саша. Глядя на давний забор, он думал задушевым голосом: «Стоит себе!»—и тоже стоял где-нибудь без всякой нужды. Когда осенью заунывно поскрипывали ставни и Саше было скучно сидеть дома вечерами, он слушал ставни и чувствовал: «Им тоже скучно!»—и переставал скучать.

Когда Саше надоело ходить на работу, он успокаивал себя ветром, который дул день и ночь.

«Я так же, как он,—видел ветер Саша,—я работаю хоть один день, а он и ночь—ему еще хуже».

Поезда начали ходить очень часто—это наступила война. Мастеровые остались к войне равнодушны—их на войну не брали, и она им была так же чужда, как паровозы, которые они чинили и заправляли, но которые возили незнакомых незанятых людей.

Саша монотонно чувствовал, как движется солнце, проходят времена года и круглые сутки бегут поезда. Он уже забывал отцарыбака, деревню и Прошку, идя вместе с возрастом навстречу тем событиям и вещам, которые он должен еще почувствовать, пропустив внутрь своего тела. Себя самого, как самостоятельный твердый предмет, Саша не сознавал—он всегда воображал что-нибудь чувством, и это вытесняло из него представление о самом себе. Жизнь его шла безотвязно и глубоко, словно в теплой тесноте материнского сна. Им владели внешние видения, как владеют свежие страны путешественником. Своих целей он не имел, хотя ему мину-

до уже шестнадцать лет; зато он без всякого внутреннего сопротивления сочувствовал любой жизни—слабости хилых дворовых трав п случайному ночному прохожему, кашляющему от своей бесприютности, чтобы его услышали и пожалели. Саша слушал и жалел. Он наполнялся тем темным воодушевленным волнением, какое бывает у взрослых людей при единственной любви к женщине. Он выглядывал в окно за прохожим и воображал о нем, что мог. Прохожий скрывался в глуши тьмы, шурша на ходу тротуарными камешками, еще более безыменными, чем он сам. Дальние собаки лаяли страшно и гучко, а с неба изредка падали усталые звезды. Может быть, в самой гуще ночи, среди прохладного ровного поля, шли сейчас куда-нибудь странники, и в них тоже, как и в Саше, тишина и погибающие звезды превращались в настроение личной жизни.

Захар Павлович ни в чем не мешал Саше—он любил его всею преданностью старости, всем чувством каких-то безотчетных, неясных надежд. Часто он просил Сашу почитать ему о войне, так как сам при лампе не разбирал букв.

Саша читал про битвы, про пожары городов и страшную трату металла, людей и имущества. Захар Павлович молча слушал, а в конце концов говорил:

— Я все живу и думаю: да неужели человек человеку так опасен, что между ними обязательно власть должна стоять? Вот из власти и выходит война... А я хожу и думаю, что война—это нарочно властью выдуманно: обыкновенный человек так не может...

Саша спрашивал, как же должно быть.

— Так,—отвечал Захар Павлович, и возбуждался.—Иначе как-нибудь. Послали бы меня к германцу, когда ссора только что началась, я бы враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны. А то умнейших людей послали!

Захар Павлович не мог себе представить такого человека, с каким нельзя бы душевно побеседовать. Но там наверху—царь и его служащие—едва ли дураки. Значит, война—это не серьезное, а нарочное дело. И здесь Захар Павлович становился втупик: можно ли

по душам говорить с тем, кто нарочно убивает людей. Или у него прежде надо отнять вредное оружие, богатство и достоинство?

В первый раз Саша увидел убитого человека в своем же депо. Шел последний час работы—перед самым гудком. Саша набивал сальники в цилиндрах, когда два машиниста внесли на руках бледного наставника, из головы которого густо выжималась и капала на мазутную землю кровь. Наставника унесли в контору и оттуда стали звонить по телефону в приемный покой. Сашу удивило, что кровь была такая красная и молодая, а сам машинист-наставник такой седой и старый: будто внутри он был еще ребенком.

— Черти! — ясно сказал наставник. — Помажьте мне голову нефтью, чтобы кровь-то хоть остановилась!

Один кочегар быстро принес ведро нефти, окунул в нее обтирочные концы и помазал ими жирную от крови голову наставника. Голова стала черная, и от нее пошло видимое всем испарение.

— Ну вот, ну вот,—поощрил наставник.—Вот мне и полегчало. А вы думали, я умру? Рано еще, сволочи, ликовать...

Наставник понемногу ослаб и забылся. Саша разглядел ямы в его голове и глубоко забившиеся туда, вдавленные, уже мертвые волосы. Никто не помнил своей обиды против наставника, несмотря на то, что ему и сейчас болт был дороже и удобнее человека.

Захар Павлович, стоявший здесь же, насильно держал открытыми свои глаза, чтобы из них не капали во всеуслышание слезы. Он снова видел, что как ни зол, как ни умен и храбр человек, а все равно грустен и жалок, и умирает от слабости сил.

Наставник вдруг открыл глаза и зорко взгляделся в лица подчиненных и товарищей. Во взоре его еще блестела ясная жизнь, но он уже томился в туманном напряжении, а побелевшие веки закатывались в подбровную глазницу.

— Чего плачете?—с остатком обычного раздражения спросил наставник. Никто не плакал—у одного Захара Павловича из вытращенных глаз шла по щекам грязная невольная влага.—Чего вы стоите и плачете, когда гудка не было!



Машинист-наставник закрыл глаза и подержал их в нежной тьме; никакой смерти он не чувствовал—прежняя теплота тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал, а теперь будто купался в горячих обнаженных соках своих внутренностей. Все это уже случилось с ним, но очень давно, и где—нельзя вспомнить. Когда наставник снова открыл глаза, то увидел людей, как в волнующейся воде. Один стоял низко над ним, словно безногий, и закрывал свое обиженное лицо грязной испорченной на работе рукой.

Наставник рассердился на него и поспешил сказать, потому что вода над ним уже смеркалась.

— Плачет чего-то, а Гараська опять, скотина, котел сжег... Ну, чего плачет? Нового человека соберись и сделай...

Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму—это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленных костей, но не может пролезть от своего слишком большого старого роста...

— Нового человека соберись и сделай... Гайку, сволочь, не сумеешь, а человека моментально...

Здесь наставник втянул воздух и начал что-то сосать губами. Видно было, что ему душно в каком-то узком месте,—он толкался плечами и силился навсегда поместиться.

— Просуньте меня поглубже в трубу,—прошептал он опухшими детскими губами, ясно сознавая, что он через девять месяцев снова родится.—Иван Сергеевич, позови Три Осьмушки Под Резьбу—пусть он, голубчик, контргаечкой меня зажмет.

Носилки принесли поздно. Не к чему было нести машиниста-наставника в приемный покой.

— Несите человека домой,—сказали мастеровые врачу.

— Никак нельзя,—ответил врач.—Он нам для протокола необходим.

В протоколе написали, что старший машинист-наставник получил смертельные ушибы при перегонке холодного паровоза, сцепленного с горячим пятисажженным стальным троссом. При переходе стрелки тросс коснулся путевого фонарного столба, который упал и по-

вредил своим кронштейном голову наставника, наблюдавшего с тендера тягового паровоза за прицепной машиной. Происшествие имело место благодаря неосторожности самого машиниста-наставника, а также вследствие несоблюдения надлежащих правил Службы Движения и Эксплоатации.

Захар Павлович взял Сашу за руку и пошел из депо домой. Жена за ужином сказала, что мало продают хлеба и нет нигде говядины.

— Ну, и помрем, только и делов, — ответил без сочувствия Захар Павлович. Для него весь житейский обиход потерял важное значение.

Для Саши—в ту пору его ранней жизни—в каждом дне была своя, безыменная прелесть, не повторявшаяся в будущем; образ машиниста-наставника ушел для него в сон воспоминаний. Но у Захара Павловича уже не было такой самозрастающей силы жизни: он был стар, а этот возраст нежен и обнажен для гибели, наравне с детством, и он горевал о наставнике всю остальную жизнь.

Больше ничто не тронуло Захара Павловича в следующие годы. Только по вечерам, когда он глядел на читающего Сашу, в нем поднималась жалость к нему. Захар Павлович хотел бы сказать Саше: не томись за книгой—если бы там было что серьезное, давно бы люди обнялись друг с другом. На самом деле Захар Павлович ничего не говорил, хотя в нем постоянно шевелилось что-то простое, как радость, но ум мешал ей высказаться. Он тосковал о какой-то отвлеченной, успокоительной жизни на берегах гладких озер, где бы дружба отменила все слова и всю премудрость смысла жизни.

Захар Павлович терялся в своих догадках; всю жизнь его отвлекали случайные интересы, в роде машин и изделий, и только теперь он опомнился: что-то должна прошептать ему на ухо мать, когда кормила его грудью, что-то такое же кровно необходимое, как ее молоко, вкус которого теперь навсегда забыт. Но мать ничего ему не пошептала, а самому про весь свет нельзя сообразить. И поэтому Захар Павлович стал жить смирно, уже не надеясь на всеобщее коренное улучшение: сколько бы ни делать машин—на них не ездить ни Прошке, ни Сашке, ни ему самому. Паровозы работают либо для

посторонних людей, либо для солдат, но их везут насильно. Машина сама—тоже не своевольное, а безответное существо. Ее теперь Захар Павлович больше жалел, чем любил, и даже говорил в депо паровозу с глазу-на-глаз:

— Поедешь? Ну, поезжай! Ишь, как дышла свои разработал,—должно быть, тяжела пассажирская сволочь.

Паровоз хотя и молчал, но Захар Павлович его слышал:

— Колосники затекают—уголь плохой,—грустно говорил паровоз.—Тяжело под'емы брать. Баб тоже много к мужьям на фронт ездят, а у каждой по три пуда пышек. Почтовых вагонов, опять-таки, теперь два цепляют, а раньше один,—люди в разлуке живут и письма пишут.

— Ага,—задумчиво беседовал Захар Павлович, и не знал, чем же помочь паровозу, когда люди непосильно нагружают его весом своей разлуки.—А ты особо не тужись—тяни спрехвала.

— Нельзя,—с кротостью разумной силы отвечал паровоз.—Мне с высоты насыпи видны многие деревни: там люди плачут—ждут писем и раненых родных. Посмотри мне в сальник—туго затанули, поршневую скалжу нагрею на-ходу.

Захар Павлович шел и отдавал болты на сальнике.

— Действительно, затанули, сволочи,—разве же так можно!

— Чего ты там возишься?—спрашивал дежурный механик, выходя из конторы.—Тебя очень просили копаться там? Скажи—дали нет?

— Нет, — укрощенно говорил Захар Павлович. — Мне показалось, туго затанули...

Механик не сердился.

— Ну, и не трожь, раз тебе показалось. Их как ни зятяни—все равно на-ходу парят.

После паровоз тихо бурчал Захару Павловичу:

— Дело не в зятяжке—там шток посредине разработан, оттого и сальники парят. Разве я сам хочу это делать?

— Да я видел,—вздыхал Захар Павлович.—Но я ведь обтирщик,—сам знаешь—мне не верят.

— Вот именно!—густым голосом сочувствовал паровоз и погружался в тьму своих охлажденных сил.

— Я ж и говорю!—поддакивал Захар Павлович.

Когда Саша поступил на вечерние курсы, то Захар Павлович про себя обрадовался. Он всю жизнь прожил своими силами, без всякой помощи, никто ему ничего не подсказывал—раньше собственного чувства, а Саше книги чужим умом говорят.

— Я мучился, а он читает—только и всего!—завидовал Захар Павлович.

Почитав, Саша начинал писать. Жена Захара Павловича не могла уснуть при лампе.

— Все пишет,—говорила она.—А чего пишет?

— А ты спи,—советовал Захар Павлович.—Закрой глаза кожей—и спи!

Жена закрывала глаза, но и сквозь веки видела, как напрасно горит керосин. Она не ошиблась,—действительно, зря горела лампа в юности Александра Дванова, освещая раздражающие душу страницы книг, которым он позднее все равно не последовал. Сколько он ни читал и ни думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место—та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерассказанный мир. В семнадцать лет Дванов еще не имел брони над сердцем—ни веры в бога, ни другого умственного покоя; он не давал чужого имени открывающейся перед ним безыменной жизни. Однако он не хотел, чтоб мир остался ненареченным,—он только ожидал услышать его собственное имя из его же уст, вместо нарочно выдуманных прозваний.

Однажды он сидел ночью в обычной тоске. Его незакрытое верой сердце мучилось в нем и желало себе утешения. Дванов опустил голову и представил внутри своего тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно входит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усиливаясь, ровная как отдаленный гул, в котором невозможно разобрать слов песни.

Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра, дующего в просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождал-

ся ветер, было что-то прозрачное, легкое и огромное—горы живого воздуха, который нужно превратить в свое дыхание и сердцебиение. От этого предчувствия заранее захватывало грудь, и пустота внутри тела еще более разжималась, готовая к захвату будущей жизни.

— Вот это я! — громко сказал Александр.

— Кто ты?—спросил неспавший Захар Павлович

Саша сразу смолк, об'ятый внезапным позором, унесшим всю радость его открытия. Он думал, что сидит одиноким, а его слушал Захар Павлович.

Захар Павлович это заметил и уничтожил свой вопрос равнодушным ответом самому себе:

— Чтец ты, и больше ничего... Ложись лучше спать, уже поздно...

Захар Павлович зевнул и мирно сказал:

— Не мучайся, Сашь,—ты и так слабый...

— И этот в воде из любопытства утонет,—прошептал для себя Захар Павлович под одеялом.—А я на подушке задохнусь. Одно и то же.

Ночь продолжалась тихо—из сеней было слышно, как кашляют сцепициги на станции. Кончался февраль, уже обнажались бровки на канавах с прошлогодней травой, и на них глядел Саша, словно на сотворение земли. Он сочувствовал появлению мертвой травы и рассматривал ее с таким прилежным вниманием, какого не имел по отношению к себе.

Он до теплотворности мог ощутить чужую отдаленную жизнь, а самого себя воображал с трудом. О себе он только думал, а постороннее чувствовал с впечатлительностью личной жизни и не видел, чтобы у кого-нибудь это было иначе.

Захар Павлович однажды разговорился с Сашей, как равный человек.

— Вчера котел взорвался у паровоза серии Ще,—говорил Захар Павлович.

Саша это уже знал.

— Вот тебе и наука,—огорчился по этому и по какому-то другому поводу Захар Павлович.—Паровоз только что с завода пришел, а заклепки к чорту!.. Никто ничего серьезного не знает—живое против ума прет...

Саша не понимал разницы между умом и телом. и молчал. По словам Захара Павловича выходило, что ум—это слабосудная сила, а машины изобретены сердечной догадкой человека—отдельно от ума.

Со станции иногда доносился гул эшелонов. Гремели чайники и странными голосами говорил люди, как чужие племена.

— Кочуют!—прислушивался Захар Павлович.—До чего-нибудь докочуются.

Разочарованный старостью и заблуждениями всей своей жизни, он ничуть не удивился революции.

— Революция легче, чем война,—объяснял он Саше.—На трудное дело люди не пойдут: тут что-нибудь не так...

Теперь Захара Павловича невозможно было обмануть, и он, ради безошибочности, отверг революцию.

Он всем мастеровым говорил, что у власти опять умнейшие люди дежурят—добра не будет.

До самого октября месяца он насмехался, в первый раз почувствовав удовольствие быть умным человеком. Но в одну октябрьскую ночь он услышал стрельбу в городе и всю ночь пробыл на дворе, заходя в торницу лишь закурить. Всю ночь он хлопал дверями, не давая заснуть жене.

— Да угомонись ты, идол бешеный!—ворочалась в одиночестве старуха.—Вот пешеход-то!.. И что теперь будет—ни хлеба, ни одежды!.. Как у них руки-то стрелять не отсохнут—без матерей, видно, росли!

Захар Павлович стоял посреди двора с пылающей цыгаркой, поддакивая дальней стрельбе.

— Неужели это так?—спрашивал себя Захар Павлович и уходил закуривать новую цыгарку.

— Ложись, леший!—советовала жена.

— Саша, ты не спишь?—волновался Захар Павлович.—Там дураки власть берут,—может, хоть жизнь поумнеет.

Утром Саша и Захар Павлович отправились в город. Захар Павлович искал самую серьезную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все партии помещались в одном казенном доме, и каждая считала себя лучше всех. Захар Павлович проверял партии на свой разум,— он искал ту, в которой не было бы непонятной программы, а все было бы ясно и верно на словах. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье—это сложное изделие и не в нем цель человека, а в исполнении исторических законов. А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно.

— Вот это так!—резонно удивлялся Захар Павлович.—Значит, работай без жалованья. Тогда это не партия, а эксплуатация. Идем, Сашь, с этого места. У религии и то было торжество православия...

В следующей партии сказали, что человек настолько великолепное и жадное существо, что даже странно думать о насыщении его счастьем—это был бы конец света.

— Его-то нам и надо!—сказал Захар Павлович.

За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.

— Ты что?—спросил он у Захара Павловича.

— Хотем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?

— Социализм, что ль?—не понял человек.—Через год. Сегодня только учреждения занимаем.

— Тогда пиши нас,—обрадовался Захар Павлович.

Человек дал им по пачке мелких книжечек и по одному вполновину напечатанному листу.

— Программа, устав, резолюции, анкета,—сказал он,—пишите и давайте двух поручителей на каждого.

Захар Павлович похолодел от предчувствия обмана.

— А устно нельзя?

— Нет. На память я регистрировать не могу, а партия вас забудет.

— А мы являться будем.

— Невозможно: по чем же я вам билеты выпишу? Ясное дело— по анкете, если вас утвердит собрание.

Захар Павлович заметил: человек говорит ясно, четко, справедливо, без всякого доверия—наверно, будет умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет.

— Ты запишись, Сашь, для пробы,—сказал Захар Павлович.— А я годок обожду.

— Для пробы не записываем,—сказал человек.—Или навсегда и полностью наш, или—стучите в другие двери.

— Ну, всерьез,—согласился Захар Павлович.

— А, это другое дело,—не возражал человек.

Саша сел писать анкету. Захар Павлович начал расспрашивать партийного человека о революции. Тот отвечал между делом, озабоченный чем-то более серьезным.

— Рабочие патронного завода вчера забастовали, а в казармах произошел бунт. Понял? А в Москве уже вторую неделю у власти стоят рабочие и беднейшие крестьяне.

— Ну?

Партийный человек отвлекся от телефона.

— Нет, не могу,—сказал он в трубку.—Сюда приходят представители масс, надо же кому-нибудь информацией заниматься!

— Что: ну?—вспомнил он.—Партия туда послала представителей оформить движение, и ночью же нами были захвачены жизненные центры города.

Захар Павлович ничего не понимал.

— Да ведь это солдаты и рабочие взбунтовались, а вы-то здесь при чем? Пускай бы они своей силой дальше шли!

Захар Павлович даже раздражался.



— Ну, товарищ рабочий,—спокойно сказал член партии,—если так рассуждать, то у нас сегодня буржуазия уже стояла бы на ногах и с винтовкой в руках, а не была бы советская власть.

— В Москве пет беднейших крестьян,—усомнился Захар Павлович.

Мрачный партийный человек еще более нахмурился: он представил себе все великое невежество масс и то, сколько для партии будет в дальнейшем возни с этим невежеством. Он заранее почувствовал усталость и ничего не ответил Захару Павловичу. Но Захар Павлович донимал его прямыми вопросами. Он интересовался, кто сейчас главный начальник в городе и хорошо ли знают его рабочие.

Мрачный человек даже оживился и повеселел от такого крутого, непосредственного контроля. Он позвонил по телефону. Захар Павлович загляделся на телефон с забытым увлечением. «Эту штуку я упустил из виду,—вспомнил он про свои изделия,—ее я сроду не делал».

-- Дай мне товарища Перекорова,—сказал по проволоке партийный человек.—Перекоров? Вот что. Надо бы поскорей газетную информацию наладить. Хорошо бы популярной литературы побольше выпустить... Слушаю. А ты кто? Красногвардеец? Ну, тогда брось трубку, ты ничего не понимаешь.

Захар Павлович вновь рассердился.

— Я тебя спрашивал оттого, что у меня сердце болит, а ты газетой меня утешаешь... Нет, друг, всякая власть есть царство, тот же синклит и монархия,—я много передумал.

— А что же надо?—озадачился собеседник.

— Имущество надо унизить,—открыл Захар Павлович.—А людей оставить без призора. К лучшему обойдется, ей-богу правда.

— Так это анархия!

— Какая тебе анархия—просто себе сдельная жизнь!

Партийный человек покачал лохматой и бессонной головой.

— Это в тебе мелкий собственник говорит. Пройдет с полгода, и ты сам увидишь, что принципиально заблуждался.

— Обождем,—сказал Захар Павлович.—Если не справитесь, отсрочку дадим.

Саша дописал анкету.

— Неужели это так?—говорил на обратной дороге Захар Павлович.—Неужели здесь точное дело? Выходит, что так.

На старости лет Захар Павлович обозлился. Ему теперь стало дорого, чтобы револьвер был в надлежащей руке,—он думал о том кронциркуле, которым можно было бы проверить большевиков. Лишь в последний год он оценил то, что потерял в своей жизни. Он утратил все—разверзтое небо над ним ничуть не изменилось от его долголетней деятельности, он ничего не завоевал для оправдания своего ослабевшего тела, в котором напрасно билась какая-то главная сияющая сила. Он сам довел себя до вечной разлуки с жизнью, не завладев в ней наиболее необходимым. И вот теперь он с грустью смотрит на плетни, деревья и на всех чужих людей, которым он за пятьдесят лет не принес никакой радости и защиты, и с которыми ему предстоит расстаться.

— Сашь,—сказал он,—ты сирота, тебе жизнь досталась за даром. Не жалея ее, живи главной жизнью.

Александр молчал, уважая скрытое страдание приемного отца.

— Ты не помнишь Федьку Беспалова?—продолжал Захар Павлович.—Слесарь у нас такой был—теперь он умер. Бывало, пошлют его что-нибудь смерить, он пойдет, приложит пальцы и идет с расставленными руками. Пока донесет руки, у него из аршина сажень получается. «Что ж ты, сукин сын?»—ругают его. А он: «Да мне дужо нужно—все равно за это не прогонят».

Лишь на другой день Александр понял, что хотел сказать отец.

— Хоть они и большевики и великомученики своей идеей,—напутствовал Захар Павлович.—Но тебе надо глядеть и глядеть. Помни—у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, миллионы людей без души живут,—тут великое дело... Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться...

Захар Павлович разжигался от собственных слов и все более восходил к какому-то ожесточению.

— А иначе... Знаешь, что иначе будет? В топку—и дымом по ветру! В шлак, а шлак—кочережкой и под откос! Понял ты меня или нет?..

От возбуждения Захар Павлович перешел к растроганности. и в волнении ушел на кухню закуривать. Затем он вернулся. и робко обнял своего приемного сына.

— Ты, Сашь, не обижайся на меня! Я тоже круглый сирота, нам с тобой некому пожалиться.

Александр не обижался. Он чувствовал сердечную нужду Захара Павловича, но верил, что революция—это жонец света. В будущем же мире мгновенно уничтожится тревога Захара Павловича, а отец-рыбак найдет то, ради чего он своевольно утонул. В своем ясном чувстве Александр уже имел тот новый свет, но его можно лишь сделать, а не рассказать.

Через полгода Александр поступил на открывшиеся железнодорожные курсы, а затем перешел в политехникум.

По вечерам он вслух читал Захару Павловичу технические учебники, а тот наслаждался одними непонятными звуками науки и тем, что его Саша понимает их.

Но скоро учение Александра прекратилось и надолго. Партия его командировала на фронт гражданской войны,—в степной городок Урочев.

Захар Павлович целые сутки сидел с Сашей на вокзале, поджидал попутного эшелона, и искурил три фунта махорки, чтобы не волноваться. Они уже обо всем переговорили, кроме любви. О ней Захар Павлович свазал стесняющимся голосом предупредительные слова:

— Ты ведь, Сашь, уже взрослый мальчик,—сам все знаешь; главное, не надо этим делом нарочно заниматься—это самая обманчивая вещь: нет ничего, а что-то тебя как - будто куда-то тянет, чего-то хочется... У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит...

Александр не мог почувствовать империализма в своем теле, хотя нарочно вообразил себя голым.

Когда подали сборный эшелон, и Александр пролез в вагон, Захар Павлович попросил его с платформы:

— Напиши мне когда-нибудь письмо, что жив, мол, и здоров,— только и всего.

— Да я больше напишу,— ответил Саша, только сейчас заметив, какой старый и сиротливый человек Захар Павлович.

Вокзальный колокол звонил уже раз пять и все по три звонка, а эшелон никак не мог тронуться. Сашу оттерли от дверей вагона незнакомые люди, и он больше наружу не показывался.

Захар Павлович истомился и пошел домой. До дома он шел долго, всю дорогу забывая закурить и мучаясь от этой мелкой досады. Дома он сел за угольный столик, где всегда сидел Саша, и начал по складам читать алгебру, ничего не понимая, но постепенно находя себе утешение.

1927

---

## ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ

М. А. Кашинцевой

### I

«Сколь разумны чудеса природы, дорогой брат мой Бертран! Сколь обильна сокровенность пространств, то непостижно даже самому благородному сердцу! зришь ли ты, хотя бы умозрительно, местожительство своего брата в глубине азийского континента? Ведомо мне, того ты не умопостигаешь. Ведомо мне, что твои взоры очарованы многошумной Еуропой и многолюдством родного моего Ньюкестля, где мореплавателей всегда изрядно и есть чем утешиться образованному взору.

Тем усерднее средоточится скорбь во мне по родине, тем явственней свербит во мне тоска пустынножительства.

Россы мягки нравом, послушны и терпеливы в долгих и тяжких трудах, но дики и мрачны в невежестве своем. Уста мои срослись от безмолвия просвещенной речи. Токмо условные сигналы десятским я подаю на сооружениях своих, а они команду рабочим громко говорят.

Натура в сих местах обильна: корабельные леса все реки в уют одели, да и равнины, почитай, ими сплошь укрыты. Алчный зверь наравне с человеком себе жизнь промышляет, и сельские россы великое беспокойство от них держат.

Однако зерна и говядины здесь вдосталь, и обильное питание утучнение мне учинило, несмотря на мою душевную скорбь об Ньюкестле.

Это письмо не столько подробно, как предыдущее. Купцы, отправляющиеся в Азов, Кафу и Константинополь, уже починили свои корабли и готовятся к отлучке. Я с ними и посылаю эту графическую посылку, дабы она скорее достала Ньюкестля. А негодяи спешат, ибо Танаид<sup>1</sup> может усохнуть и тогда не поднимет грузные корабли. А просьба моя невелика, и тебя с такого дела станет.

Царь Петер весьма могучий человек, хотя и разбродный и шумный понапрасну. Его разумение подобно его стране: потаенно обильностью, но дико лесной и зверной очевидностью.

Однако к иноземным корабельщикам он целокупно благосклонен и ярок на щедрость им.

На устьи реки Воронеж построен мной двухкамерный шлюз с перемышкой, что дало помощь починкам кораблей на суше, не причиняя им большой ломки. Устроил я также большую перемышку и шлюз с воротами, придав ему размеры, достаточные для пропуска воды. Потом устроил другой шлюз с двумя большими воротами, через которые могли бы проходить большие корабли так, что их можно бы зашпарт во всякое время в пространстве, огражденном перемышкою, и спускать с него воду, когда корабли войдут в него.

И в той работе прошло шестнадцать месяцев. А с тем пришла другая работа. Царь Петер остался доволен трудами моими и приказал строить другой шлюз выше, дабы сделать реку Воронеж судоходною до самого города для кораблей в восемьдесят пушек. И эту тягость я снес в десять месяцев, и ничего с сооружениями моими не станется, пока свет стоит. Хотя и слаб грунт в месте шлюза и были могучие ключи. Немецкие помпы стали слабосильны от ключей, и шесть недель стояла работа от обильности тех ключей. Тогда мы изготовили машину, коя двенадцать бочек воды в минуту истребляла и работала без утиха восемь месяцев, и тогда мы посуху вглубь котлована пошли.

После столь понудных трудов Петер поцеловал меня и вручил тысячу рублей серебром, что немаловажные деньги. Еще сказал мне

---

<sup>1</sup> Дон.

царь, что и Леонардо да Винчи, изобретатель шлюзов, не устроил бы лучше.

А сурьезность моей мысли в том, что я хочу тебя, любимый мой Бертран, позвать в Россию. Здесь весьма к инженерам щедры, а Петер большой затейщик на инженерные дела. Самолично я услышал от него, что есть нужда в устройстве канала меж Доном и Окою, могучими туземными реками.

Царь желает создать сплошной водный тракт меж Балтикой и Черным и Каспийским морем, дабы превозмочь обширные пространства континента в Индию, в Средиземные царства в Еуропу. Сие зело задумано царем. А догадку к тому подает торговля и купецкое сословие, кое все, почитай, промышляет в Москве и смежных городах; да и богатства страны расположение имеют в глубине континента, откель нету выхода, кроме как сплотить каналами великие реки и плавать по ним сплошь от персов до Санкт-Петербурга и от Афин до Москвы, а также под Урал, на Ладогу, в Калмыцкие степи и далее.

По туго царю Петеру надобны инженера для столького дела. Ведь канал меж Доном и Окой немалое дело, и тут потребно усердие большее и пуще знание.

Вот я и обещал Петеру-царю, что позову из Ньюкестля брата Бертрана, а сам устал, да и невесту я люблю и соскучился. Четыре года в дикарях живу и сердце ссохлось и разум тухнет.

Напиши против сего писания твое решение по такому случаю, а я даю тебе совет, чтоб ехать. Трудно тебе будет, но через пять лет поедешь в Ньюкестль в избытке и кончишь жизнь на родине в покое и достатке. Для сего не скорбно потрудиться.

Передай мою любовь и тоску невесте моей Анне, а через малую длительность я вернусь. Скажи ей, что я уже питаюсь только кровотоцием своего сердца по ней, и пускай она дождетя меня. А затем прощай меня и глянь ласково на милое море, на веселый Ньюкестль и на всю родимую Англию.

Твой брат и друг, инженер Вильям Перри. 1708 лета осьмого августа».

Весною 1709 года в первую навигацию в Санкт-Петербург приплыл Бертран Перри.

Путешествие из Ньюкестля он совершил на старом судне «Мэри», много раз видавшем и австралийские и южно-африканские порты.

Капитан Сутерлэнд пожал Перри руку и пожелал доброго пути в страшную страну и скорого возвращения к родному очагу. Бертран его поблагодарил и ступил на землю—в чуждый город, в обширную страну, где его ожидала трудная работа, одиночество и, быть может, ранняя гибель.

Бертрану шел тридцать четвертый год, но утрюмое, скорбное лицо и седые виски делали его сорокапятилетним.

В порту Бертрана встретил посол русского государя и резидент<sup>1</sup> английского короля.

Оказав друг другу скучные слова, они расстались: государев посланец пошел домой есть гречневую кашу, английский резидент к себе в бюро, а Бертран—в отведенный ему покой близ морского сейнгауза.

В покоях было чисто, пусто, укромно, но тоскливо от тишины и уютности. В венецианское окно бился пустынный морской ветер, и прохлада от окна еще пуще говорила Бертрану об одиночестве.

На прочном и низком столе лежал пакет за печатями.

Бертран вскрыл его и прочитал:

«По повелению государя и самодержца всероссийского, Наук-Коллегия любезно просит аглицкого морского инженера Бертрана-Рамсея Перри пожаловать в Наук-Коллегию—в водно-канальное установление, что по Обводному прошпекту помещение особое имеет.

Государь имеет самоличное наблюдение за движением проекта по коммутации рек Дона с Окою—через Иван-Озеро, реку Шать и реку Упу—посему надлежит в прожектерском труде поспешать.

---

<sup>1</sup> Консул.



А с тем и Вам следует быть в Наук-Коллегии наспех, однако допустив себе отдых после морского перехода, сколь с чувствами и всей телесной физикой мирно станется.

По приказу Президента  
Главный Уставщик и Юриспрудент  
Наук-Коллегии—

Генрих Вортман.

Бертран лег с письмом на широкий немецкий диван и нечаянно заснул.

Проснулся он от бури, тревожно тремевшей в окне. На улице, в мраке и безлюдьи, беспокойно падал влажный густой снег. Бертран зажег лампу и сел к столу насупротив жуткого окна. Но делать было нечего, и он задумался.

Прошло длинное время, и земля давно встретила медленную ночь. Иногда Бертран забывался и, резко оборачиваясь, ожидал встретить родную комнату в Ньюкестле, а за окном—ландшафт теплой людной гавани и смутную полосу Европы на горизонте.

Но ветер, ночь и снег на улице, молчание и прохлада в покоех—указывали Бертрану на иную широту положения его жилища.

И то, отчего он так долго отнекивался в своем сознании, вмиг застлало его фантазию.

Мери Карборунд, его двадцатипятилетняя невеста, сейчас наверно ходит по зеленым улицам Ньюкестля и носит в своей блузе сиреневую ветку. Быть может, другой ее водит под руку и шепчет убедительно про лживую любовь—то останется Бертрану навеки неизвестным. Он две недели плыл сюда, а что случится может в этот срок в фантастическом безумном сердце Мери?

И разве может женщина ждать мужа пять или десять лет, растя в себе любовь к невидимому образу? Едва ли так. Тогда давно весь мир уже был бы благодороден.

А ежели б в тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел хоть на луну.

Бертран насыпал трубку индийским табаком.

— Однако Мери была права! На что ей нужен муж-негоциант или простой моряк? Она любезна мне и умница большая...

Мысли Бертрана шли стремительно, но чередуясь и соблюдая ясный такт.

— Неукоснимо ты права, маленькая Мери... Я помню даже то, как ты травой пахла. Я помню, ты сказала:—мне нужен жум, как странник Искандер, как мчащийся Тамерлан или неукротимый Аттила. А если и моряк, то как Америго Веспуччи... Ты знаешь много и мудрица, Мери!.. Ты истинно права: если муж тебе дороже жизни, то пускай он будет интересней и редкостней ее! Иначе ты заскучаешь и несчастье тебя погубит.

Бертран неистово сплюнул табачную жвачку и сказал:

— Да, Мери, слишком ты остра на ранний разум! И я, пожалуй, сам такой жены не стою. Зато как хорошо ласкать такую резвую головку! То мне отрада, что под косой жены живет горячий мозг!.. Но еще посмотрим!.. Затем я и приехал в сию грустнейшую Пальмиру! Послание Вильяма непричастно к такой судьбе, но оно сердечному решению помогло...

Бертран окоченел и стал собираться спать. Пока он воображал Мери и умственно беседовал с ней, над Санкт-Петербургом успела рассвирепеть вьюга и, окорачиваясь у зданий, она студила покой.

Завернувшись в одеяло, укрывшись сверху морской шинелью из чортового вечного сукна, Бертран дремал, и тонкая живая печаль, не переставая, не слушаясь разума, струилась по всему его сухому сильному телу. .

На улице раздался странный резкий звук, будто корабль треснул по всей обшивке от удара льда; Бертран открыл глаза, прислушался, но мысль его отвлеклась от страдания, и он уснул, не опомнившись.

### III

На другой день в Наук-Коллегии Бертранзнакомился с замыслом Петра. Прожект был только начат.

Задание царя сводилось к тому, чтобы создать сплошной судовой ход меж Доном и Окою, а через то—всего придонского края с Мо-

сковою и волжскими провинциями. Для сего требовалось произвести больше шлюзовые и каналные работы, к прожектёрству которых и был призван Бертран из Британии.

Следующая неделя ушшла у Бертрана на знакомство с изыскательскими документами, по которым следовало прожектировать работы. Документы оказались добропорядочными и составлены знающими людьми: французским инженером генерал-майором Трузсоном и польским техникком капитаном Цицкевским.

Бертран был доволен, пбо добрые изыскания делали способным скорое начатие строительных работ. Тайная дума Бертрана хранилась в том предмете, что он очаровался Петром, еще будучи в Нью-кестле, и хотел стать его соучастником в цивилизации дикой и таинственной страны. А тогда бы и Мери восхотела его мужем своим иметь.

Искандер завоевывал, Веслупчи открывал, а теперь наступил век построек—окровавленного воина и усталого путешественника сменил умный инженер.

Трудился Бертран тяжело, но счастливо—горе его разлуки с невестой в работе припотухало.

Жил он в тех же покоях; адмиралтейских и штатских ассамблей не посещал и знакомств с дамами и их мужьями чуждался, хотя некоторые светские женщины и искали общества с одиноким англичанином. Бертран вел работу как корабль,—осторожно, здравомысленно и скоро, избегая феоретических мелей и перекатов в своих планшетах.

К началу июля прожект был исполнен, и планы начисто переписаны. Все документы были доложены царю, который их одобрил, а Бертрану приказал выдать напраду в 1.500 рублей серебром, а впредь жалованье учредить по 1.000 рублей в каждый месяц и назначить главным мастером и строителем всех шлюзов и каналов, что Дон с Окой соединить должны.

В тот же час Петр отдал приказы наместникам и воеводам, по провинциям которых шлюзы и каналы строиться будут, дабы они оказали полное воспособление главному инженеру—всем, чего он ни

потребуется. Бертрану же были даны права генерала и соподчинение он имел только царю и главнокомандующему.

После официальной беседы Петр встал и имел к Бертрану речь:

— Мастер Перри! Я знаю твоего брата Вильяма, тот завидный речной корабельщик и на славу водяную силу братать может искусными устройствами. А тебе, не в пример ему, поручается зело умный труд, коим мы навеки удумали главнейшие реки империи нашей в одно водяное тело сплотить и тем великую помощь оказать мирной торговле, да и всякому делу военному. Через оные работы крепко решено нами в сношение с древле-азиатскими царствами сквозь Волгу и Каспий войти и весь свет с образованной Европой, поелику возможно, обручить. Да и самим через ту всесветную торговлишку малость попитаться, а на иноземном мастерстве руку народа набить.

Через то я поручаю тебе к работам приступить немедля—судовому ходу тому быть!

А что сопротивление тебе будут чинить—про то доноси мне гонцами—на живую и скорую расправу. Вот моя рука—тебе порука! Держи начало крепко, труд веди мудро—благодарить я могу, умею и сечь нерадетелей государства добра и супротивщиков царской воли!

Тут Петр с быстротой, незаконной в его массивном теле, подошел к Бертрану и тряхнул его руку.

Затем Петр повернулся и ушел в свои покои, прохаркиваясь и тяжело дыша на ходу.

Речь царя Бертрану перевели, и она ему понравилась.

Проект Бертрана Перри состоял в следующих частях: построить тридцать три шлюза из дикого и известкового камня; прорыть соединительный канал от деревни Любовки на реке Шати до деревни Бобриков на Дону длиною двадцать три версты; реку Дон прочистить и углубить для судового хода от деревни Бобриков до деревни Гай, по длине в сто десять верст; кроме того, Иван - озеро, откуда Дон течет, а также весь канал—валом и земляными дамбами окружить и заключить.

Всего, стало быть, требовалось устроить двести двадцать пять

верст судового пути, один конец которого был в Оке, а другой внедрялся стадеcятиверстным каналом в Дон. Ширину каналу следовало придать двенадцать сажен, а глубину—два аршина.

Строительное управление предусматривалось Бертраном в г. Епифанп, в Тульской провинции, ибо в том городе сходилась середина будущих работ.

Вместе с Бертраном должны были ехать еще пять немецких инженеров и десять писцов из Административного Приказа.

День отбытия пал на восемнадцатое июля. В тот день к десяти часам утра к покоям Бертрана должны подать дорожные кареты для следования в глухой и терпеливый путь, держа маршрут на неярметный пункт—Епифань.

#### IV

Покуда вкует на свете душа, потуда она и бедует.

Собравшись для изрядной еды, пять немцев и Перри понадеялись зарядиться пищей на сутки.

И, действительно, животы они набили круто, готовясь для долгого созерцания тогдашних немощных русских пространств.

Уже Перри в дорожный рундучок пачки с табаком укладывал,— последнее дело его перед всякой дорогой. Уже немцы письма своим семьям кончали, и младший из них, Карл Берген, вдруг разрыдался от жмуцей сердце неупержимой тоски по молодой любимой еще жене.

И тут затряслась дверь от резкого стука казенной руки: так мог стучать посланный либо арестовать, либо известить о милости бешеного царя.

Но то был гонец из Почт-Приказа.

Он попросил указать ему Бертрана Перри, аглицкого капитан-инженера. И пять немецких рук, в родинках и веснушках, указали ему на англичанина.

Гонец нелепо выбросил вперед ногу и почтительно подал Перри некий пакет за пятью печатами.

— Сударь, соизвольте принять посыл из аглицкой державы!

Перри отошел от немцев к окну и вскрыл пакет:

«Ньюкестль,  
июня 28.

Мой славный Бертран! Ты не ждешь этой вести. Мне трудно тебя огорчать; наверно, любовь к тебе меня еще не оставила. Но уже новое чувство жжет меня. И жалкий разум мой напряжен, чтобы поймать твой милый образ, который так скорбно обожило мое сердце.

Но ты наивен и жесток—ради наживы золота ты уплыл в дальнюю землю; ради дикой славы ты погубил мою любовь и мою ждущую нежности молодость. Я женщина, я слаба без тебя, как веточка, и отдала свою жизнь другому.

Ты помнишь ли, мой славный Берт, Томаса Рейса? Вот он стал моим мужем. Ты огорчен, но признайся, что он очень славный и такой преданный мне! Некогда я отказала ему и предпочла тебя. Но ты уехал, и он долго утешал меня в моем ужасе и в моей тоскливой любви по тебе.

Не печалься, Берт! Мне так тебя жалко! Ты думал и вправду мне нужен был мужем Александр Македонский? Нет, мне нужен верный и любимый, а там, пускай, он хоть уголь грузит в порту или плавает простым матросом, но только поет всем океанам песни обо мне. Вот что нужно женщине, имей это в виду, глупый Бертран!

Две недели уже, как вышла наша свадьба с Томасом. Он весьма счастлив, и я тоже. Кажется, у меня ребенок тревожится под сердцем. Видишь, как скоро! Это потому, что Томас мой любимый и не оставит меня, а ты уехал колонии искать,—возьми их себе, а я взяла Томаса.

Прощай! Не печалься, а будешь в Ньюкестле—навести нас, мы будем рады. А умрешь—мы заплачем с Томасом.

М е р и   К а р б о р у н д - Р е й с ».

Перри, не помня рассудка, трижды кряду считал письмо. Потом взглянул в огромное окно: разбить его жалко—у немцев за золото куплено стекло. Стол проломить—тяжелой вещи в наличности нет. Немцу в физиономию дать—беззащитное существо, а один из них и так плакал. Пока свирепела ярость в Перри, а он колебался своим арифметическим рассудком, его лютость сама нашла себе выход.

- Герр Перри, у вас рот не в порядке!—сказали ему немцы.  
— А что такое?—уже обессилев и чуя грусть, спросил Перри.  
— Вытрите рот, герр Перри!

Перри с трудом вырвал трубку из впившихся в нее зубов. А зубы, сжав трубку, так уперлись в свои гнезда, что порвали десна, и из них текла горькая кровь.

- Что случилось, герр! Несчастье дома?  
— Нет. Конечно, друзья...  
— Что кончилось, герр? Ну, пожалуйста, скажите!  
— Кровь кончилась, а десны зарастут. Давайте ехать в Епифань.

## У

Путешественники тянулись по Посольской дороге, что через Мокву до Казани доходит, смыкаясь за Москвой с Калмиуской Сакмой—татарской дорогой на Русь, по правой стороне Дона. На нее и следовало путникам сделать поворот, чтобы затем, через Идовские и Ордобазарные большаки и малые столбы, достигнуть Епифани,—своего будущего местожительства.

Встречный ветер, вместе с дыханием, выдувал горе из груди Перри.

Он с обожанием наблюдал эту природу, такую богатую и такую сдержанную и скупую. Встречались земли—сплошные удобрительные туки, но на них росла непышная растительность: худая, изящная береза и скорбящая певучая осина.

Даже летом так гулко было пространство, как будто оно не живое тело, а отвлеченный дух.

Изредка в лесу обнажалась церковушка—деревянная, бедная, со знаками византийского стиля в своей архитектуре. Под самой Тверью Перри заметил даже дух готики на одном деревенском храме, при протестантском постном убожестве самого здания. И на Перри задышала теплота его родины—скупой практический разум веры его отцов, понявшей тщету всего неземного.

Огромные торфяники под лесом прельщали Перри, и он чувство-

вал на своих губах вкус неимоверного богатства, скрытого в этих темных почвах.

Немец Карл Берген,—тот, что плакал в Санкт-Петербурге над письмом,—думал о том же. На воздухе он отживел, возбудился, забыл на время молодую жену и объяснил Перри, глотая слюну:

— Энглянд—это шахтмейстер<sup>1</sup>. Руссланд—торфмейстер! Верно я говорю, герр Перри?

— Да, да, точно,—сказал Перри и отвернулся, заметив страшную высоту неба над континентом, какая невозможна над морем и над узким британским островом.

Изредка, но изрядно путешественники ели в попутных селениях. Перри пил целыми жбанамии квашонку, в которой он нашел немалый вкус и способствование дорожному пищеварению.

Минувши Москву, инженеры долго помнили ее колокольную музыку и тишину пустых пыточных башен по углам Кремля. Особо восхитил Перри храм Василия Блаженного—это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость—вместе—другую пышность мира, данного человеку задаром.

Иногда перед ними расстилались пространные степи и ковыльные земли, на которых не было и следа дороги.

— А где же Посольский тракт?—спрашивали немцы ямщиков.

— А вот он самый,—указывали на круглое пространство ямщики.

— А сего незаметно!—воскликали немцы, взглядываясь в грунт.

— Так тракт одно направление, а трамбовки тут быть не должно! Он до самой Казани такой—все едино!—поясняли, поелику возможно, ямщики иноземцам.

— Ах, это знаменито!—смеялись немцы.

— А то как же!—всерьез подтверждали ямщики,—оно так видней и просторней! Степь в глаза—веселья слеза!

— Весьма примечательно!—дивились немцы.

---

<sup>1</sup> Горнорабочий.



— А то как же!—поддакивали ямщики, а сами ухмылялись в бороду, дабы никому оскорбительно не было.

За Рязанью—обиженным и неприятным городком—уже редко жили люди. Тут шла бережная и укромная жизнь. Еще от татар остался этот страх, испуганные очи ко всякому лутеику, потаенность характера и заюлоченные чуланчики, где тайлось впрок небогатое добро.

С удивлением вглядывался Бертран Перри в редкие укрепления с хранишками посредине. Окрест таких самодельных кремлей жили местные люди в кучах избышек. И видно было, что это—новосельные люди. А раньше все хоронились в уюте земляных валов и деревянных стен, когда татары по степному разнотравью достигали сих районов. Да и жил в тех крепостцах все более казенный народ, учиненный сюда князьями, а не полезные хлебопашцы. А теперь—разрастаются селитбища, а по осени и ярмарки гремят, даром что нынче царь то со шведами, то с турками воюет, и страна от того ветшает.

Вскоре путешественники должны повернуть па Калмиюсскую Сакму—татарский ход по обочине Дона на Русь.

Однажды в полдень ямщик махнул кнутом без нужды и дико свистнул. Лошади взяли.

— Танаид!—крикнул Карл Берген, высунувшись из кареты.

Перри остановил экипаж и вышел. На дальнем горизонте, почти на небе, блестела серебряной фантазией резкая живая полоса, как снег на горе.

«Вот он Танаид!»—подумал Перри и ужаснулся затее Петра: так велика оказалась земля, так знаменита обширная природа, сквозь которую надо устроить водяной ход кораблям. На планшетах в Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно.

Перри видел океаны, но столь же таинственны, великолепны и грандиозны возлежали пред ним эти сухие, косные земли.

— На Сакму!—крикнул передовой ямщик.—Ухватывай ее в уяс! Штоб в ночевке на Идовском большаке быть беспременно!

Овсяные кони схватили и понесли полной мочью, в соучастие нетерпеливым людям.

— Окоротись!—закричал вдруг передовой ямщик, и для признака задним поднял кнутовище.

— Что вышло!—спохватились немцы.

— Стражника взять забыли,—сказал ямщик.

— Какой методой?—уже спокойно спросили немцы.

— За нуждой в отвершек на постое побежал,—глянул, а его нету на заднем причале!

— Эх ты, бурмистр бородатый!—резонно выразился второй ямщик.

— Да вон он лупит степью, плешивый чин, за ширинку держится!—успокоился виноватый ямщик.

И странствие тронулось, держа курс на полдень—на идовскпе и ордобазарные большаки, а оттуда—на малые епифанские столбы.

## VI

Работа на Епифани взялась сразу.

Малоизвестный язык, странный народ и сердечное отчаяние низложили Перри в трюм одиночества.

И лишь на работе исходила вся энергия его души, и он свирепел иногда без причины, так что сподручные прозвали его каторжным командиром.

Епифанский воевода занарядил всех мужиков воеводства: кто камень ломал и к шлюзам подвозил, кто на канале землю рыл, кто реку Шать чистил по живот в воде.

— Что ж, Мери!—бормотал Бертран, бродя ночью по своему епифанскому покою,—таким горем меня не взять! Покуда есть влага в сердце—спасусь! Построю канал, царь денег много даст и—в Индию... Ах, как жаль мне тебя, Мери!..

И, путаясь в страдании, тяжких мыслях и в избыточных силах своего тела, Перри грузно и безумно засыпал, тоскуя и взывая во сне, как маленький.

Около осени приехал в Епифань Петр. Он остался недоволен работами:

— Скорбь в рундуке разводите, а не тщитесь пользу отечеству ускорить,—сказал царь.

Действительно, медленно шли работы, как ни ожесточался Перри. Мужики укрывались от повинности, а лихие головы сбегали в известные места.

Охальные местные люди вручили Петру челобитные, в коих велся учет злomu начальству. Петр приказал повести дознание, откуда выяснилось, что воевода Протасьев за большие поборы освобождал слободских мужиков от повинностей, а поверху всего миллион рублей себе нажил на всяких начетах и требовательных ведомостях с казны.

Петр приказал Протасьева бить кнутом, а потом сослал его на Москву для дополнительного следствия, но он там досрочно с печали и стыда умер.

По от'езде Петра, когда срамота еще не забылась, другая беда нашла на епифанские работы.

Карл Берген ведал работами на Иван-озере,—валом земляным его огораживал, чтобы воду в нем поднять до нужной судоходной глубины.

В сентябре Перри получил от него рапорт, где указывалось:

«Пришлые люди, особливо московские чиновники и балтийские мастера, волею божьею чуть не все лежат больны. Великий им упадок живет, а болят и умирают больше лихорадкою и пухнут. Простолюдин же местный терпит, но при всякой тяжести и спехе работы в болотной воде, коя прохладна стала близу осени, бунт поровит учинить. Заключение сие тем, что тако и далее пойдет, без начальников и мастеров мы очутиться можем. А затем жду спешных приказов главного инженера-строителя».

Перри уже знал, что балтийские мастера и техники-немцы не только болеют и умирают в болотах Шати и Упы-реки, но также и бегут по тайным дорогам на родину, ухватывая великие деньги.

Перри боялся весеннего половодья, которое грозило разрушить

начатые и беспомощные сооружения. Он хотел довести их до безопасного состояния, чтобы полые воды особого вреда им не причинили.

Однако того достигнуть было трудно,—технические чиновники умирали и сбегали, а мужики того пуще мутнились и целыми слободами не выезжали на работу. Одному же Бергену не управиться с такими злодеяниями и болотную мороку не залечить.

Тогда Перри, чтобы хоть одно зло усечь, издал по работам и всем окружным воеводствам приказ: под смертною казнью, чтобы иноземцев—канальных и шлюзных мастеров—нигде не пропускали и в подводы под них никто не наряжался и лошадей бы не продавали и в ссуды не давали.

А под приказом Перри поставил подпись Петра,—для устрашения и исполнения: пускай потом царь поругает, нельзя же ехать к нему в Воронеж, где он флот на Азов снаряжал, чтобы подпись его получить и два месяца времени упустить.

Но и так пристрожить мастеровых людей не удалось.

Тогда Перри увидел, что зря таким штурмом он работы повел и столь многочисленных работных, служилых и мастеровых людей в них сразу втравил. Следовало бы начать работы спрехвала, чтобы дать народу и мастеровым к труду такому притерпеться и очухаться.

В октябре работы стали вконец. Немцы-инженеры кляли все силы на то, чтобы людской охраной сооружения и заготовленные материалы снабдить, но и то не удавалось. Через это немцы слали с каждой оказней Перри рапорты, чтобы их он уволил с работ, ибо их царь запороть может, когда приедет, а они неповинны.

Однажды епифанский воевода пришел к Перри в воскресенье.

— Бердан Рамзенч! Какую штуку я тебе принес! Непостижное охальство!

— Что такое?—спросил Перри.

— А ты погляди, Бердан Рамзенч! Да ты вдумайся в документ втихомолку, а я так посижу... Штой-то дуже бездомовно у тебя, Бердан Рамзенч! Да што сказать—жен у нас по тебе нету. То я вижв и тому сочувствую...

Перри развернул грамотку:

*„Петру Первому Алексеичу,*

Русскому Самодержцу и Государю.

Мы, холопы твои и крестьянишки наши, в той год у твоего, Великий Государь, канавного и слюзного дела приставлены неотлучно были, во время пахотное и жатвенное и сенокосное в домишках своих не были и ныне по работе ж и за тою работою озного хлеба не собирали, а ярового не усеяли, и сеять некому и нечем и за безлошадьем ехать не на чем, а который у нашей братьи и крестьянишек наших старого припасу молоченой и немолченой хлеб был и тот хлеб служилые и работные люди, идучи на твою, Великого Государя, службу и на Епифань на работу, много брали безденежно, а остальной волею божьей от мышей поеден без остатку, и многое нам и крестьянишкам нашим такие служилые и работные люди обиды и разоренье чинят и девок до времени всех, почитай, оскормили».

— Чуешь, Бердан Рамзенч?—спросил воевода.

— Как это попало к вам?—удивился Перри.

— А так—дуриком: у писаря моего две недели каки-то холуи чернил допытывались аль состав просили сказать за окорок ветчинный. Токмо писарь мой жох и сам вотчинник—чернила дай, а сам в слезку, да так и дознался и грамотку проведаль... Ведь окромя воеводского приказа в Епифани чернилов нету и составные краски никому не ведомы!..

— Неужели мы так народ и вправду умучили?—спросил Перри.

— Да што ты, Бердан Рамзеич! Эт у нас народ такой охальник и ослушник! Ему хоть ты што—он все челобитные пишеть, да жалобы егозят, даром што грамоте не учен и чернильного состава не знает... Вот, погоди, я их умещу в тесное место! Я им покажу супротивщину чинить и царю без угомону писать... Ведь это наказанье господне! И зачем их слова обучали говорить? Раз грамоты не разумеют и от устных слов надобно отучить!..

— А вы имеете донесения, воевода, с Иван-озера? Целы там те колонны пеших рабочих и подвод, коих вы из Епифани со стражниками погнали?

— Каки колонны? Это што я на Спас послал? Куды тебе, Бердан Рамзенч! Стражник один.—тому десять ден.—прискакала оттыльча, сказывал, что пешие все на Яик и Хопер убегли, а семьи их, истинно, по Епифани с голоду маются. Отдыху от баб не вижу, а оброчья—всяка стервь доносом поровит меня унять... Стерегусь государя, Бердан Рамзенч! Нагрянет—порке без оглядки предаст. Уж ты заступись, Бердан Рамзенч, аглицким богом тебя прошу!..

— Хорошо, заступлюсь,—сказал Перри.—Ну, а конные подводы работают на Иване?..

— Што ты, Бердан Рамзенч! Кони пеших упредили: все по степям и неприметным хуторам разбежались и утаились. Да разве сыщешь? Только то не к добру—лошади извелись на работах и к пахоте боле не пригожи, а многие пали кончиной в степи... Тах-тэ, Бердан Рамзенч!

— Да!—воскликнул Перри, и сжал руками свою твердую, худую голову, в которой сейчас не было никакого утешения.

— Так что ж ты думаешь делать, воевода?—спросил Перри.—Ведь мне рабочие нужны! Как хочешь делай,—давай пеших и конных, а то шлюзы весной смочет, а царь мне не спустит!

— Как хошь, Бердан Рамзенч! Голову мою бери,—в Епифани одни бабы остались, а в остальной воеводской земле—разбой свищет. В свое воеводство показаться не могу,—куды там рабочих сыскать! Мне одна тропка: от народа голову сберег, царь снесет!

— Это меня не касается! Вот тебе наряд, воевода, на неделю: на Иван-озеро поставить пятьсот пеших, сто конных; на шлюз, что при деревне Сторожевой Дубровке, тысячу пятьсот пеших и четыреста конных; на Нюховской шлюз две тысячи пеших и семьсот конных; еще на Любовской канал, между Шатью и Доном, четыре тысячи пеших и полторы тысячи конных, да на Гаевской шлюз конных сто и пеших шестьсот. Вот, бери наряд, воевода! Чтоб вся эта рабочая сила была поставлена в одну неделю! Не сделаешь—отправлю рапорт царю!..

— Слухай меня, Бердан Рамзенч!..

Перри перебил:

— Больше не слушаю. Нечего тебе мне страдать и песни петь.—я не невеста! Чтоб были рабочие, а жалобы мне не нужны! Ступай в воеводство и делай мне живых людей!

— Слушаю, Бердан Рамзенч, слушаю, сударь! Токмо ни хрена не выйдет, вот тебе покойница-мать...

— Ступай в свое воеводство!—раздраженно сказал Перри.

— Дозволь тогда, Бердан Рамзенч, хучь камень дикий возкой до весны оставить. Он и пугает мужиков.—дуже тяжесть агромадна, да и ломка на Люторце неспособна...

— Дозволяю.—ответил Перри, догадавшись, что сейчас ему не до новых работ, впору сделанное от разлива уберечь.—Только ты ступай, воевода! Очень ты речист, а на дело хитер без смысла!

— Благодарим за камень! Прощевайте, Бердан Рамзенч!..

Воевода негромко выговорил еще несколько слов и удалился.

Последние слова он сказал на местном языке, по-еписфански. Поэтому Перри ничего в них не понял. А если б и понял, то добра бы в них себе не увидел.

## VI

На зиму все пять немцев-инженеров тоже приехали в Еписфань. Они обросли бородами, постарели за полгода и явно одичали.

Карла Бергена грызла жестокая скорбь по своей германке-жене, но он подписал договор с царем на год, а ранее уехать было нельзя: в ту пору лиха была русская расправа. Поэтому молодой немец дрожал от ужаса и семейной тоски, и работа у него валилась из рук.

Остальные немцы тоже заплошали и жалели, что приехали в Россию за длинными рублями.

Один Перри не сдавался, и сердечная печаль по Мери находила себе исход в его лютой энергии.

На техническом совете с немцами Перри выяснил, что положение с недоделанными шлюзами грозно. Весенние воды могут начисто снести сооружения, особенно же Люторецкой и Муровлянской шлюзы, откуда еще в августе сбегали все рабочие.

По последнему наряду Перри епифанский воевода ничего не поставил: то ли злая воля в том его была, то ли правда—рабочих согнать нельзя было.

Обсудив работы, инженеры не выдумывали, как уберечь шлюзы от весны. Перри знал, что царь Петр приказывал в Петербурге инженерам, которые строили корабли, чтобы они надевали черные погребальные балахоны. Если спуск и пробное плавание нового корабля проходили отлично, царь давал инженеру-корабельщику награду сто, либо более рублей, смотря по емкости судна, и личными руками снимал с инженера смертный балахон. Если же корабль давал течь и кренился без причины, еще пуще того—тонул у берега, царь предавал таких корабельщиков на скорую казнь—на снос головы.

Перри не боялся утраты своей головы, однако допускал ее, но немцам ничего не говорил.

Потянулась великорусская зима. Епифань засыпалась снегом, окрестности окончательно замолчали. Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой. А на самом деле—ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и моченые яблоки и по разу женились.

Загнанный скукой и одиночеством, один из немцев—Петер Форх—женился рождеством на епифанской боярышне—Ксении Тарасовне Родионовой, дочери богатого торговца солью. Отец ее имел свой обоз в сорок подвод, который странствовал меж Астраханью и Москвой с двадцатью чумаками, снабжая солью полные провинции. А в молодости Тарас Захарович Родионов и сам чумачил. Петер Форх переселился к тестю и вскоре пополнил от мирной жизни и заботливого питания.

Все инженеры, под началом Перри, до самого нового европейского года усердно занимались составлением исполнительных чертежей, смет на израсходованные материалы и рабочие руки, а также проектировали всякие способы безопасного пропуска весенних вод.

Перри написал царю рапорт, где изложил всю историю работ, указал на роковую нехватку рабочих и усомнился в конечном благо-



получил. В жопи свой рапорт Перри направил аглилкуму послу в Санкт-Петербург,—на всякий случай.

В феврале в Епифань прибыл царский курьер с пакетом Перри.

*„Бертрану Перри*

*Главному инженеру-строителю Епифанских шлюзов  
и каналов меж Доном и Окой реками.*

Слух о твоей неспособной работе дошел до меня допреж своей челобитной. Из сей незадачи я усматриваю, что тамошний епифанский народ—холуй, и пользы своей не принимает, а сверх того и тебе следоват круче волю мою гнуть и утруждать сподручных втугачку, дабы никому не было подстать на ослушанье решиться: будь то мастер-иноземец или черный люд.

Обсудив круг мыслей, до Епифанских шлюзов касающихся, я порешил упредительные меры на нонешнее лето.

Воеводу твою я прогнал и епитимью ему назначил—с Азова брандеры на Воронеж гнать по мелям великим. А новым воеводой посылаю тебе Гришку Салтыкова—человека твердого и ходовитого, мне известного и лихого на скорую расправу. Он тебе будет первый помощник по пешей и гужевои силе.

Кроме того, я об'являю епифанское воеводство на военном положении, а мужское население забираю в солдаты сплошь. Затем я шлю тебе поручиков и капитанов отборного свойства, кои с ротами епифанских рекрутов и ополченцев придут на твои работы, а ты считайся полным генералом, а помощникам и сподручным мастерам также раздай подобающие чины, коих с них стант.

В иных смежных воеводствах, кои работам твоим под стать, так же я военное положение учредил...

Ежели и в нонешнем лете прогадаешь со шлюзами и каналами—тогда гляди сам. Что ты британец—отрадой тебе не станется».

Перри обрадовался такому ответу Петра. Успех работ после таких епифанских реформ был теперь обнадежен. Лишь бы весна особо не нагадила и прошлогодний труд не пошел прахом и убытками.

В марте Перри получил из Ньюкестля письмо. Он прочел его как весть с того света, до того заржавело его сердце к своей минувшей судьбе:

«Бертран!

В новогодний день умер мой первенец, мой сын. Все тело мое болит при воспоминании о нем. Ты прости, что я тебе пишу, чуждому теперь человеку, но ты верил в мою искренность. Ты помнишь, я тебе говорила—кому первому отдаст женщина свой поцелуй, того она помнит всю жизнь. И я тебя помню, и поэтому пишу о своем потерянном даре—маленьком сыне. Он был мне дороже мужа, дороже твоей памяти и дороже себя. О, во сколько раз дороже всех моих кровных драгоценностей! Не буду писать о нем тебе, а то заплачу и не кончу и второго письма. Первое я тебе послала месяц назад.

Муж мне стал совсем чужой. Он много работает, ходит по вечерам в морской клуб, а я одна, и мне так скучно! Единственное мое утешение—чтение книг и письма к тебе, которые я тебе буду писать часто, если ты не обидишься.

Прощай, дорогой Бертран! Ты мил мне, как друг, и словно далекий родственник, в тебе мое чувство нежных воспоминаний. Пиши мне письма, я буду очень рада их получать. В жизни меня держит только любовь к моему мужу да память о тебе. Но мертвый мой мальчик в моих сновидениях зовет меня разделить с ним его мучения и его смерть.

А я все живу, бессовестная и трусливая мать.

М е р р и.

Н В. В Ньюкестле жаркая весна. Попрежнему в ясные дни виден берег Европы за проливом. Этот берег всегда мне напоминает тебя, и оттого мне еще тоскливее бывает.

Помнишь ли ты стихи, которые писал мне в своем письме когда-то!

Возможность страсти горестной и трудной—  
Залог души, любимой божеством.

Чьи это стихи? Помнишь ли ты свое первое письмо ко мне, где признался мне в любви, стыдясь сказать мне в лицо роковые слова. Я тогда поняла мужество и скромность твоей натуры, и ты мне понравился».

После письма Перри охватила человечность и нежное чувство покоя: быть может, он был доволен несчастьем Мери, — судьба обоих теперь уравновесилась.

Не имея в Епифани близкого знакомого, он начал ходить в гости к Петеру Форху; пил там чай с вишневым вареньем и беседовал с женой Форха—Ксенией Тарасовной—о далеком Ньюкестле, теплом прольве и о европейском берегу, который виден из Ньюкестля в прозрачные дни. Только о Мери Бертран ни с кем не говорил, скрывая в ней источник человечности и общительности.

Шел март. Епифанцы постились; заунывно звонили в православных храмах, а на водоразделах уже почернели поля.

Хорошее душевное расположение Перри не проходило. Мери на письмо он не ответил ничего, да и мужу ее не понравятся его письма; писать же общие вежливые слова ему не хотелось.

Немецких инженеров Перри разослал по наиболее опасным шлюзам для руководства работами по пропуску вешних вод.

Мужики теперь ходили в солдатах. А новый воевода, Григорий Салтыков, лютовал по воеводству без спуска и милости; тюремные дома были туго населены непокорными мужиками, а особая воеводская расправа, порочная хата тож, действовала ежедневно, кнутом вбивая разум в мужиков.

Рабочих, и цепших и конных, теперь было вдосталь, но Перри видел сколь это непрочное: каждый час мог вспыхнуть бунт, и не только все побегут с работ, но и сооружения будут злостно разрушены вмах.

Но весна выдалась недружная: днем текло малыми порциями, а ночами прихватывало. Через шлюзы вода исходила, как сквозь худое ведро; поэтому немцы и дежурные рабочие успевали затыкать талой землей щели в водоспусках, и особых разрух не происходило.

Перри был весьма доволен и чаще навещал одинокую теперь супругу Форха, беседуя с ее отцом о чумаках-солевозах, татарских нашествиях и о сладких травах старых ковыльных степей.

Наконец, разгорелась летним огнем провинциальная прелестная весна, а затем стихла молодость природы. Наступила зрелость и злота лета, и вся жизнь по земле затревожилась.

Перри решил в осени все каналы и шлюзы закончить. Он соскучился по морю, по родине, по старику-отцу, жившему в Лондоне.

Грусть отца по сыну измерялась пеплом из его трубки: от тоски по сыну отец неугомонно курил. Он и сказал на прощанье:

— Берг! Сколько мне табаку съечь придется, пока я увижу тебя...

— Много, отец, много!—ответил Бертран.

— Да уж не берет меня никакой яд, сынок! Скоро, наверно, жевать табачный лист начну...

В начале лета работа пошла спешно. Напуганные царем мужики усердно трудились. Однако иные ветхопещерники бежали и укрывались в дальних скитах. А некоторые неумные головы шептались меж собой и увлекали целные роты на Урал и в калмыцкие степи. За ними учреждали угон, но толку от него никогда не случалось.

В июне Перри поехал по работам. Скорость их и успешность он нашел достаточными.

А Карл Берген совсем обрадовал его. На Иван-озере, на самом низком дне, он обнаружил бездонный колодезь-окно. Оттуда поступало в озеро столь много ключевой воды, что ее хватит на дополнительное питание каналов в мелководные сухие годы. Следует только на Иван-озере подсыпать прошлогодний земляной вал еще на сажень, чтобы собирать из колодца в озеро больше воды, а затем пускать эту воду в каналы по особому спуску, когда надобность в том явится.

Перри одобрил изобретение Бергена и приказал тот колодезь желонкой расчистить и опустить в него большую железную трубу с сеткой, чтобы колодезь не заилился вновь. Воды тогда в озеро будет подтекать еще больше, и водный путь в засуху не обмелеет.

Страх и сомнение ужалили гордость Перри, когда он возвращался в Епифань. Петербургские проекты не посчитались с местными натуральными обстоятельствами, а особо с засухами, которые в сих местах нередки. А выходило, что в сухое лето как раз каналам воды не хватит, и водный путь обратится в песчаную сухопутную дорогу.

По приезде в Епифань, Перри начал пересчитывать свои технические числа. И вышло еще хуже: проект составлен был по местным данным от 1682 года, лето которого изобиловало влагой.

Поговорив с местными людьми и тестем Форха, Перри догадался, что и в средние по снегам и дождям годы каналы будут так маловодны, что по ним и лодка не пройдет. А про сухое лето и говорить нечего,—одна песчаная пыль поднимется на канальном русле.

«Тогда я отца-то, пожалуй, больше не увижу!—подумал Перри.—И в Ньюкестль я не поеду, и берега Европы не посмотрю!»

Единственная надежда осталась на ключ на дне Иван-озера. Если он даст много воды, то ею можно будет прокормить каналы в сухейшие годы.

Но это открытие Бергена все же не возвращало тихого покоя душе Бертрапа, какой он имел после письма Мери. Втайне он не верил, чтобы колодезь Иван-озера способен был помочь обильной водой, но укрывал свое отчаяние за этой маленькой надеждой.

Сейчас на Иван-озере шла постройка особого плота, с которого подводный колодезь пробурят глубже и вставят в него широкую чугунную трубу.

### VIII

В начале августа Перри получил от Карла Бергена служебный рапорт. Принес его воевода Салтыков:

— Вот, ваше превосходительство, тебе писуля пришла. Ребята мои сказывали, что мужицкая гнида вся с Татинского слюза анамеднись молчком ушла. Так я тебе спокой начет слюза того даю: завтра баб тех, коих мужики убегли, всех сгоню на Татынку. А бегунов

словлю и военно-полевому суду отдам. Снесу головы, тады поумнеют. Видно тах-то!..

— Я с тобой согласен, Салтыков!—сказал помертвевший от забот Перри.

— Так, стало, ты, ваше превосходительство, тады те смертные казни подпишешь? Упреждаю тебя, теперча ты тут всему делу голова.

— Ладно, подпишу...—ответил Перри.

— А еще, генерал, завтра у меня дочерины смотрины. Один ухажор московской, купецкий сын, мою Феклушу в дом себе принимает на супружество. Так ты приходи подчеваться...

— Благодарю. Может, зайду. Спасибо, воевода.

Салтыков ушел; Перри разодрал пакет Бергена:

«Конфиденциально!»

Коллега Перри!

С 20 по 25 июля производилось бурение подводной скважины на Иван-озере—для углубления, уширения и прочистки ее. По вашей задаче, следствием должен быть сильный приток подземных вод в Иван-озере.

Бурение остановлено на десятой сажени по причинам, сказуемым ниже.

В 8 часов вечера, 25 июля, желонка перестала таскать вязкую глину и вынималась с сухим мелким песком. При сей процедуре я присутствовал неотлучно.

Отчалив от бурильного плота, чтобы достигнуть берега по случайной нужде, я обнаружил торчащую траву над горизонтом воды, которой раньше не замечал. Ступив на береговое сухопутье, я услышал, что завыла собака, по местному прозвищу Илюшка, что питается с солдатского котла. Это меня немало смутило, несмотря на мою веру в бога.

Солдаты-рабочие доказали мне, что с полудня и до сей поры вода в озере убывает. Подводная трава оголилась и показались два невеликих островка посредине воды.

Солдаты были в ужасном страхе и говорили, что мы озерное дно сквозь продолбили трубой, и озеро теперь иссяхнет.

Действительно, на берегу явно был замечен вчерашний урез воды, а также понешний, и разница была на полсажени ниже.

Воротившись на борт плота, я приказал бурение кончить, и немедля начать забивку скважины. Для сего мы опустили в подводный колодезь чугунную крышку аршин в поперечнике, но ее сразу утащило в подземную глубину, и она пропала. Тогда начали забивать в скважину обсадную трубу, набитую глиной. Но и ту трубу засосала скважина, и она утащилась туда. И сосание то длится посейчас, и вода из озера гнетется туда безвозвратно.

Сему объяснение простое. Бурильный желонкой мастер пробил тот водоупорный глинистый пласт, на котором вода в Иван-озере и держалась.

А под тою глиной лежат сухие жадные пески, кои теперь и сосут воду из озера, а также железные предметы влечут.

И дальше не ведаю, что и делать, о чем и прошу ваших приказов».

Душа Перри, не боявшаяся никакой жути, теперь затряслась в трепете, как и подобает человеческой натуре. Бертран не выдержал такого роста горя и жалобно заплакал, упершись лбом в стол.

Судьба его нагоняла всюду: он утратил родину, потом Мери, теперь случилась неполадка работ. Он знал, что не выберется живым из этих просторных суходелов и не увидит больше ни Ньюкестля, ни Европы на том берегу, ни отца с трубкой, ни Мери в последний раз.

Пустая, низкая комната звучала от неистового скрежета зубов и плача Перри. Он опрокинул стол и метался в тесноте, воя от хлынувшего страдания и потеряв всякий характер. Сила горя свирепела в нем и запечатлевалась как попало и без всякого надзора со стороны разума.

Смирившись затем, Бертран улыбнулся и устыдился такого бесстыдного отчаяния. Потом вынул книжку из чемодана и начал читать:

«АРТУР ЧЕМСФИЛД.  
ЛЮБОВЬ ЛЕДИ  
БЭТТИ ХЬЮГ

РОМАН

в 3-х томах и 40 частях

Сударыня! Любвеобильное сердце мое, терзаясь и стеноя, вызывает к вам с ангельской мольбою: предпочтите меня всем светским мужчинам или возьмите из груди сердце сие и скушайте его, как жидкое яйцо!

Мрачный вихрь сотрясает своды моего черепа и кровь пылает как жидкая смола! Ньюджи не приютить, сударыня Бетти? Ньюджи не боишься надгробной тоски над чужеродным тебе, но верным человеком?..

Мистрис Бетти, я знаю, что мистер Хьюг застрелит меня из старого ружья лежалым порохом, как только я приближусь к вашему дому. Пускай то случится! Пускай обличится роковая моя судьба!

Убийца я домашних очагов! Но сердце ищет милости под комбинезоном любимой, где бьется ее сердце под холмами наивных грудей!

Бродяга я неприятный! Но благосклонности прошу у вашего солидного супруга!

Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я ищу любви у более сублильного существа—женщины»...

Перри замер в нечаянном, но глубоком и свежем сне, а книга свалилась—навсегда непрочитанной, но интересной.

Наступил вечер; комната остыла, потускнела и наполнилась воздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба.

IX

Прошел значительный год—долгая осень, длиннейшая зима и робкая, редкостная весна.

Наконец, внезапно распустилась сирень—эта роза русской про-



винции, дар скромных палисадов и признаков неизбежной деревенской мечты.

Вся группа работ, что именуется Государственным Доно-Окским Водным Ходом, была совершена.

Предстояло многолетнее плавание небольших и значительных судов, кои к лицу сухопутной стране.

Зной водворился с мая. Сначала поля заблагоухали телами юных растений, а потом, в июне, оттуда понесло прахом вянущих листьев и остротой скисающих от жаркого мора цветов: не было дождя.

На испытание шлюзов и каналов государь прислал французского инженера, генерала Трузсона, с особой коллегией при нем из трех адмиралов и одного инженера-итальянца.

— Инженер Перри!—заявил Трузсон.—По приказанию государя императора предлагаю вам через неделю весь путь от Дона до Оки привести в судоходное состояние! Я имею полномочия его величества освидетельствовать все водные сооружения, дабы обнаружить и установить их добротность и целям государя соответствие.

— Слушаю!—ответил Перри.—Водный ход будет готов через четыре дня!

— О, это знаменито! — провозгласил довольно Трузсон. — Исполняйте, инженер, и не задерживайте наше отбытие в Санкт-Петербург!

Через четыре дня затворы водоспусков были опущены, и вода начала накапливаться в шлюзовые плесы. Однако накоп был столь незначителен, что и в глубоких местах более аршина не получилось. Кроме того, когда вода, запертая шлюзами, чуть поднялась в реке, то подземные ключи перестали биться. На них налег тяжелый пласт воды и задушил их.

На пятый день вода в междушлюзные пространства совсем перестала добавляться. К тому же был зной, бездожде, и из балок не было никакого подтока.

С Шати-реки от Муровлянского шлюза пущена была байдара, груженная лесом, с осадкой в пять четвертей аршина. Отплыв от шлюза на полверсты, она села на мель на самом фарватере.

Трузсон и его испытательная коллегия ездили на тройках по обочине водного пути.

Из крестьян, кроме нужных рабочих, никого не было на открытии водного хода. Мужики не чаяли, когда эта беда минует Епифань, а по воде никто не собирался плавать; может, пьяный когда вброд перейдет эту воду поперек, и то изредка: кум от кума жил в те времена верст за двести, потому что сосед соседа в кумовья не брал,—бабы не дружили.

Трузсон ругался по-французски и по-английски, но то была немощная ругань. А по-русски он не умел. Поэтому даже рабочие на шлюзах не пугались генерала,—не понимали, чего кричал и брызгал ртом этот русский генерал из иноземцев.

А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифани еще год назад знали. Поэтому и на работу все жители глядели как на царскую игру и иноземную затею, а сказать—к чему народ мучают—не осмеливались.

Только епифанские бабы жалели мрачного Перри:

— Удобен, да статен, пралич, и не стар будто, а с бабами не жирует. Не то скорбь кака гложет, не то бабу свою схоронил,—кто ж его знает, не сказырват... А уж дюже горемычен на лицо—аж жутко...

На другой день нарядили сто мужиков мерщиками. Мужики пустились прямо вброд. Только у самых шлюзовых плотин они малостьплыли, а то вброд всюду тянулись. В руках они несли шесты, и десятские зарубали на них глубины, а больше мерщики меряли голениями и потом отсчитывали четвертями, а в четверти у иных были пол-аршина. Пятипалая рука тогда имела мощный мах в пальцах и мерным работам не способствовала.

Через неделю все водные ходы были промерены, и Трузсон посчитал, что и лодка не везде пройти может, а в иных местах и плота вода не подымет.

А царь приказал глубину устроить, чтобы десятипушечным кораблям безопасно по ней плавать можно было.

Коллегия Трузсона составила испытательную ведомость и зачитала ее Перри и его сподручным немцам.

В ведомости говорилось, что каналы, а равно и шлюзованные речки, не гожи для плаванья и кораблевождения, по причине малости вод. Затраты и труды надо почитать напрасными и никому не впрок. Далее того предлагалось распорядиться воле царя.

— Да, — сказал один адмирал из приспешников Трузсона, — учредили водяной ход! Вечное посмешище установили, великие титоты народные расточили!.. Испозорили, изглумили государя вдрызг, — у меня и то изжога началась от таких делов!.. Ну, теперь гляди, немцы! И ты, агличанский чудотворец, теперь кнута жди — да это еще милость!.. Страхота сию ведомость царю доложить — морду хлопыстать почнет!..

Перри молчал. Он знал, что прожект был исполнен по изысканиям того же Трузсона, но все равно ему спастись не к чему.

На другой день, на восходе солнца Трузсон уехал со своими людьми.

Перри не знал, куда ему деть привычную работоспособность, и гулял в степях целыми днями, а вечерами читал английские романы, но другие, а не «Любовь Бетти Хьюг».

Немцы сгинули через десять дней после Трузсона. Воевода Салтыков снарядил за ними угон, но угонные стражники еще не вернулись.

В Елифани из немцев остался только женатый Форх, как любивший супругу человек.

Воевода Салтыков учредил за Перри и Форхом неявный надзор, но то было известно и Перри, и Форху. Салтыков ждал каких-то приказов из Петербурга и на глаза Перри не показывался.

Перри одичал сердцем, а мыслью окончательно замолчал. Начинать что-нибудь делать серьезное было не к чему. Он знал, что его ждет расправа царя. Однако в кратком смысле он написал британскому посланнику в Петербург, прося его выволить подданного британского короля. Но Перри чувствовал, что воевода не пошлет его письмо с очередной оказией или запакует его в казенную сумку и направит в Тайный Петербургский Приказ.

Через два месяца Петр прислал нарочного с секретным пакетом.

Царский курьер ехал в карете, за каретой мчались мальчишки, и пыль за ними расплывалась радугой от вечернего солнца.

Перри стоял в тот час у окна и видел весь этот скорый ход собственной судьбы. Он сразу догадался, с чем приехал посланец, и лег спать, чтобы скоротать ненужное время.

На другой день, на заре солнца, к Перри постучали.

Вошел воевода Салтыков:

— Аглицкий подданный, Бердан Рамзенч Перри, объявляю тебе волю его императорского величества: с сего часа ты не генерал, а штатский человек и сверх того преступник. На государеву расправу ты пешеходом гонишься в Москву со стражниками. Собрайся, Бердан Рамзенч, ослободи казенное помещение!..

## Х

В полдень Перри шел по средне-русскому континенту и созерцал встречные травинки. За спиной его был мешок, а рядом стражники.

Дорога ожидала дальняя, и стражники были добры, чтобы не трать зря душу на злобу.

Два стражника были родом из Епифани. Они сказали Перри, что завтра с утра начнут пороть в пыточной хате немца-остальца Форха. Царь, будто, другой никакой казни ему не назначил, а только дать дюжью порку и выгнать в Неметчину.

Дорога в Москву оказалась столь длинна, что Перри забыл, куда его ведут, и так устал, что хотел, чтоб его поскорее довели и убили.

В Рязани епифанские стражники переменились. Новые стражники сказали Перри, что как бы войны с аглицкой державой не было.

— А что так? — спросил Перри.

— Петр-государь, сказывают, пымал у царицы на спальных снастях полюбовника, а тот аглицким посланцем оказись! Петр-царь ему голову отруби да царице ее в шелковом чувале и пришли!..

— Неужели так? — спросил Перри.

— А ты думал? — сказал стражник. — Видал нашего царя? Громадный мужичина! Сказывают, он тому посланцу руками голову

оторвал, будто куренку какому! Шуточное ли дело? Только я слышал. из женщины царь народ на войну не тронет.

Под конец дороги Перри не чувствовал ног. Они у него распухли, и он шел, как в валенках.

Один стражник-старик — на последней почевке, ни с того, ни с сего, сказал Перри:

— И куды мы тебя ведем? Может, на мертвую казнь! Непешный царь горазд на всякую лютость... Я б убег на глазах! Пра! А ты идешь цыплаком! Кровя, брат, у тебя дохлые — я б залютóвал во как и в порку не дался, тем более в казнь!..

## XI

Перри привели в Кремль и сдали в башенную тюрьму. Ничего ему не говорили, и Перри перестал пытаться судьбу.

В узкое окно он всю ночь видел роскошь природы — звезды — и удивлялся этому живому огню на небе, горевшему в своей высоте и беззаконии.

Такая догадка обрадовала Перри, и он беспечно засмеялся на низком глубоком полу высокому небу, счастливо царствовавшему в захватывающем дыханье пространстве.

Перри проснулся сразу, не помня, как он заснул. Проснулся он не сам по себе, а от людей, которые стояли перед ним и негромко говорили, не будя заключенного. Но он сам проснулся, шочуяв их.

— Бертран Рамзей Перри, — сказал дьяк, вынув бумажку и прочтя имя, — по приказу его величества, государя императора, ты приговорен к усечению головы. Больше мне ничего не ведомо. Прощай. Царство тебе божье! Все ж ты человек!

Дьяк ушел и задвинул снаружи наглухо двери, не сразу управившись с железом.

Остался другой человек — огромный хам, в одних штанах на пуговице и без рубашки.

— Скидывай портки!

Перри начал снимать рубашку.

— Я тебе сказываю — портки прочь, вор!

У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза.

— Где ж твой топор?—спросил Перри, утратив всякое ощущение кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросят этот человек.

— Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь!

Резким рубящим лезвием вцепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу.

И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее: он увидел кровь в своих онемелых, остывших глазах и свалился в объятия воющего палача.

Через час в башне загредел железом дьяк.

— Готово, Игнатий? — крикнул он съезв дверь, притулясь и прислушиваясь.

— Обожди, не лезь, тница!—скрежеща и сопя, отвечал оттуда палач.

— Вот, сатана! — бормотал дьяк. — Такого не видал во-веки: пока лютостью не изойдет — входить страховито!

Зазвонили к «Достоиню» — отходила ранняя обедня.

Дьяк зашел в церковь, взял просфорочку—для первого завтрака, и зашасся свечечкой — для вечернего одинокого чтения.

\* \* \*

Епифанский воевода Салтыков получил в августе, на яблочный спас, духовитый пакет с марками иноземной державы. Написано на пакете было не по-нашему, но три слова — по-русски:

*БЕРТРАНУ ПЕРРИ  
ИНЖЕНЕРУ.*

Салтыков испугался и не знал, что ему делать с этим пакетом на имя мертвеца. А потом положил его от греха за божницу — на вечное поселение паукам.

1926.

## СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК <sup>1</sup>

### I

Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.

— Естество своё берет! — заключил Пухов по этому вопросу.

После погребения жены Пухов лег спать, потому что сильно исколотался и намялся. Проснувшись, он захотел квасу, но квас весь вышел за время болезни жены — и нет теперь заботчика о продовольствии. Тогда Пухов закурил — для ликвидации жажды. Не успел он докурить, а уж к нему кто-то громко постучал беспрекословной рукой.

— Кто? — крикнул Пухов, разваливая тело для последнего потягивания.— Погоревать не дадут, сволочи!

Однако дверь открыл: может, с делом человек пришел.

Вошел сторож из конторы начальника дистанции.

— Фома Егорыч — путевка! Распишитесь в графе! Опять метет — поезда станут!

Расписавшись, Фома Егорыч поглядел в окно: действительно начиналась метель, и ветер уже посвистывал над печной вьюшкой. Сторож ушел, а Фома Егорыч загоревал, подслушивая свирепеющую вьюгу,— и от скуки, и от бесприютности без жены.

---

<sup>1</sup> Этой повестью я обязан своему бывшему товарищу—Ф. Е. Пухову и тов. Тольскому, комиссару Новороссийского десанта в тыл Врангеля.

— Все совершается по законам природы! — удостоверил он самому себе и немного успокоился.

Но вьюга жутко развевалась над самой головой Пухова, в печной трубе, и оттого хотелось бы иметь рядом с собой что-нибудь габое, не говоря про жену, но хотя бы живность какую.

По путевке на вокзале надлежало быть в 16 часов, а сейчас часов 12 — еще можно поспаться, что и было сделано Фомой Егорычем, не обращая внимания на пенне вьюги над вьюшкой.

Разомлев и распарившись, Пухов насилу проснулся. Нечаянно он крикнул, по старому сознанию:

— Глаша! — жену позвал; но деревянный домик претерпевал удары снежного воздуха и весь пищал. Две комнаты стояли совсем порожними, и никто не вял словам Фомы Егорыча. А бывало сейчас же отзовется участливая жена:

— Тебе чего, Фомушка?

— А ничего, — ответит бывало Фома Егорыч, — это я так позвал: цела ли ты!

А теперь никакого ответа и участия: вот они законы природы!

— Дать бы моей старухе капитальный ремонт — жива бы была, но средств нету и харчи плохие! — сказал себе Пухов, шнуруя австрийские башмаки.

— Хоть бы автомат выдумали какой-нибудь: до чего мне трудящимся быть надоело! — рассуждал Фома Егорович, упаковывая в мешок пищу: хлеб и пшено.

На дворе его встретил удар снега в лицо и шум бури.

— Гада бестолковая! — вслух и навстречу движущемуся пространству сказал Пухов, именуя всю природу.

Проходя безлюдной привокзальной слободой, Пухов раздраженно бурчал — не от злобы, а от грусти и еще отчего-то, но ничего он велух не сказал.

На вокзале уже стоял под парами тяжелый, мощный паровоз с прицепленным к нему вагоном — снегоочистителем. На снегоочистителе было написано: «Система инженера Э. Бурковского».



«Кто этот Бурковский, где он сейчас и жив ли? Кто ж его знает!» — с грустью подумал Пухов и отчего-то сразу ему захотелось увидеть этого Бурковского.

К Пухову подошел начальник дистанции:

— Читай, Пухов, расписывайся, и — поехали! — и подал приказ:

«Приказывается правый путь от Козлова до Лисок держать непрерывно чистым от снега, для чего пустить в безостановочную работу все исправные снегоочистители. После удовлетворения воинских поездов, все паровозы поставить для тяги снегоочистителей. В экстренных случаях снимать для той же тяги дежурные станционные паровозы. При сильных метелях — впереди каждого воинского состава должен неотлучно работать снегоочиститель, дабы ни на минуту не было прекращено движение и не ослаблена боеспособность Красной армии.

Пред. Глав. Рев. Комитета Ю.-В. ж. д.

Р у д и н.

Компссар Путей Сообщения Ю.-В. ж. д.

Д у б а н и н.

Пухов расписался — в те годы попробуй не распишись!

— Опять неделю не спать! — сказал машинист паровоза, тоже расписавшись.

— Опять! — сказал Пухов, чувствуя странное удовольствие от предстоящего трудного беспокойства: все жизнь как-то незаметней и шибче идет.

Начальник дистанции, инженер и гордый человек, терпеливо слушал метель и смотрел поверх паровоза какими-то отвлеченными глазами. Его раза два ставили к стенке, он быстро поседел и всему подчинился — без жалобы и без упрека. Но зато навсегда замолчал и говорил только распоряжения.

Вышел дежурный по станции, вручил начальнику дистанции путевку и пожелал доброго пути.

— До Графской остановки нет! — сказал начальник дистанции

машинисту.— Сорок верст! Хватит ли воды у вас, если топку придется все время форсировать?

— Хватит,— ответил машинист.— Воды много — всю не выпарим!

Тогда начальник дистанции и Пухов вошли в снегоочиститель. Там уже лежали восемь рабочих и докрасна калили чугунок казенными дровами, распахнув для свежего воздуха окно.

— Опять навоняли, дьяволы! — почувствовал и догадался Пухов.— А ведь только что пришли и харчей жирных, должно, не едали! Эх, идолы!

Начальник дистанции сел на круглый стул у выпуклого окна, откуда он управлял всей работой паровоза и снегоочистителя, а Пухов стал у балансира.

Рабочие тоже встали у своих мест, у больших рукояток, посредством которых по балансиру быстро перекидывался груз—и балансир то поднимал, то опускал снегосбросный щит.

Метель выла упорно и ровно, запасшись огромным напряжением где-то в степях юго-востока.

В вагоне было не чисто, но тепло и как-то укомно. Крыша вокзала гремела железами, отстегнутыми ветром, а иногда этот скрежет железа перемежался с далеким артиллерийским залпом.

Фронт работал в шестидесяти верстах. Белые все время прижимались к железнодорожной линии, лица уюты в вагонах и станционных зданиях, утомившись в снежной степи на худых конях. Но белых отжимали бронированные поезда красных, посыпая снега свинцом из изношенных пулеметов. По ночам — молча, без огней, тихим ходом — проходили броневые поезда, просматривая темные пространства и пробуя шаровозом целость пути. Ночью ничего не известно; помашет издали поезду низкое степное дерево — и его порежут и снесут пулеметным огнем: зря не шевелись!

— Готово? — спросил начальник дистанции и посмотрел на Пухова.

— Готово! — ответил Пухов и взял в обе руки рычаги.

Начальник дистанции потянул веревку к паровозу — тот запел, как вежный пароход, и грубо дернул снегоочиститель.

Выскочив со станционных путей, начальник дистанции одной рукой резко и коротко дернул за веревку паровозного свистка, а другой махнул Пухову. Это означало: работа!

Паровоз крикнул, машинист открыл весь пар, а Пухов передвинул оба рычага, опуская щит с ножами и развертывая крылья.

Сейчас же снегоочиститель сдал скорость и начал увязать в снегу, приликая к рельсам, как к магнитам.

Начальник дистанции еще раз дернул веревку на паровоз, что означало — усилить тягу! Но паровоз весь дрожал от перенапряжения и сифонил так, что из трубы жар вылетал. Колеса его впустую ворочались в снегу, как в крутой почве, подшипники прелсь от частых оборотов и плохого масла, а кочегар весь взмок от работы с топкой, несмотря на то, что выбегал за дровами на тендер, где его прохватывал двадцатиградусный ветер.

Снегоочиститель и паровоз попали в глубокий снежный перевал. Один начальник дистанции молчал — ему было все равно. Остальные люди на паровозе и на снегоочистителе грубо выражались на каком-то самодельном языке, сразу обнажая задушевные мысли.

— Пару мало! Прошуруй топку и просифонь, чтоб баланец<sup>1</sup> загремел — тогда возьмем!

— Закуривай! — крикнул рабочим Пухов, догадавшись о том, что делается на паровозе.

Начальник дистанции тоже вынул кисет и насыпал в кусочек газеты зеленой самогонной махорки.

К метели давно притерпелись и забыли про нее, как про нормальный воздух. Покурив, Пухов вылез из вагона и здесь только обнаружил гром бури, зlobу холода и пальбу сухого снега.

— Вот сволота! — сказал Пухов, еле управляясь с тем, с чем ему нужно было управиться.

---

<sup>1</sup> Баланс—автоматический предохранитель от излишнего давления пара в котле.

Вдруг бешено заревел баланс паровоза, спуская лишний пар. Пухов вскочил в вагон — и паровоз сейчас же и разом выхватил снегоочиститель из снежного бугра, пробуксовав колесами так, что огонь посыпался из рельс. Пухов даже увидел, как хлестнула вода из паровозной трубы от слишком большого открытия пара, и оценил машиниста за отвагу:

— Хорош парень у нас на паровозе!

— А? — спросил старший рабочий Шугаев.

— Чего — а? — ответил Пухов. — Чего акаешь-то? Горе кругом, а ты разговариваешь!

Шугаев поэтому замолчал.

Паровоз прогудел два раза, а начальник дистанции крикнул:

— Закрой работу!

Пухов рванул рычаг и поднял щит.

Под'езжали к переезду, где лежали контррельсы. Такие места проезжали без работы: щит снегоочистителя резал снег ниже головки рельса, и не мог работать, когда у рельса что-нибудь находилось — тогда снегоочиститель опрокинулся бы.

Проехав переезд, снегоочиститель понесся открытой степью. Укрытый снегом, лежал искусный железный путь. Пухов всегда удивлялся пространству. Оно его успокаивало в страдании и увеличивало радость, если ее имелось немного.

Так и теперь — поглядел в запущенное окно Пухов: ничего не видно, а приятно.

Снегоочиститель, имея жесткие рессоры, гремел, как телега по кочкам, и, ухватывая снег, тучей пушил его на правый откос пути, трепеща выкинутым крылом; это крыло назначено было швырять снег на сторону — то оно и делало.

В Графской сделали значительную стоянку. Паровоз брал воду, помощник машиниста чистил дымовую коробку, топку и прочее огневое хозяйство.

Обмерзший машинист ничего не делал, а только ругался на эту жизнь. Из штаба какого-то матросского отряда, стоявшего в Граф-

ской, ему принесли спирту, и Пухов тоже прошел в долю, а начальник дистанции отказался.

— Пей, инженер! — предложил ему главный матрос.

— Благодарю покорно. Я ничего не пью, — уклонился инженер.

— Ну, как хочешь! — сказал матрос. — А то вышей — согреться! Хочешь рыбы принесу — покушаешь?

Инженер опять отказался, по неизвестной причине.

— Эх ты, тина! — сказал тогда оскорбленный матрос. — Ведь тебе с душой дают — нам же не жалко, — а ты не берешь! Поешь, пожалуйста!

Машинист и Пухов пили и жевали все напролом, улыбаясь насчет начальника.

— Отстань ты от него! — обрубил другой матрос. — Он есть хочет, но идея его не велит!

Начальник дистанции смолчал. Есть он действительно не хотел. Месяц назад он вернулся из командировки — из-под Царицына, где сдавал восстановленный мост. Вчера он получил депешу, что мост просел под воинским поездом: клепка моста шла наспех, некавалифицированные рабочие ставили заклепки на живую нитку и теперь фермы моста распились — от одного чувства веса мало-мальски грузного поезда.

Два дня назад началось следствие по делу моста, и дома у начальника дистанции лежала повестка от следователя железнодорожного Ревтрибунала. Назначенный в экстренную поездку, инженер не мог пойти в Ревтрибунал, но помнил об этом. Поэтому ему не пилося и не елось. Но страха он тоже не имел, терзаясь сплошным равнодушием; равнодушие, он чувствовал, может быть страшнее боязливости — оно выпаривает из человека душу, как воду медленный огонь, и когда очнешься — останется от сердца одно сухое место; тогда человека хоть ежедневно к стенке ставь — он и покурить не попросит: последнее удовольствие казнимого.

— Теперь куда поедете? — спросил у Пухова главный матрос.

— Должно, на Гязи!

— Верно: под Усманью два эшелона и броневик в сутробах застряли! — вспомнил матрос. — Казаки, говорят, Давыдовку взяли, а снаряды за Козловом в заносах стоят!

— Расчистим, сталь режем, а снег — вещество чепуховое! — уверенно определил Пухов, спешно допивая последние капли спирта, чтобы ничто не пропало в такое время.

Тронулись на Грязи. Пассажиром напросился старичок — будто бы ехал от сына с Лисок, — а кто ж его знает!

Поехали. Загремел балансир, — кидая щит то вниз, то вверх, — и забурчали рабочие, которым не досталось матросской жирной рыбы.

— Яблок бы моченых я теперь поел! — сказал на полном ходу снегоочистителя Пухов. — Ух, и поел бы — ведро бы с'ел!

— А я бы сельдь покушал! — ответил ему старичок-пассажир. — Люди говорят, что в Астрахани сельди той миллионы пудов гниют, только маршрутов туда нету!

— Тебя посадили, ты и молчи, сиди! — строго предупредил Пухов. — Сельдь бы он покушал! Будто без него с'есть ее некому!

— А я, — встрял в разговор помощник Пухова, слесарь Зворычный, — на свадьбе в Усмани был, так полного петуха с'ел — жирён был, дьявол!

— А сколько петухов-то было на столе? — спросил Пухов, чувствуя на вкус того петуха.

— Один я был — откуда теперь петухи?

— Что ж, тебя не выгнали со свадьбы? — допытывался Пухов, желая, чтоб его выгнали.

— Нет, я сам рано ушел. Вылез из стола, будто на двор захотел, — мужики часто ходят, — и ушел.

— А тебе, старик, не пора слезать — деревня твоя не видна еще? — спросил Пухов пассажира. — Гляди, а то разбалакаешься — проскочишь!

Старик подскочил к окну, подышал на стекло и потер его.

— Места будто знакомые пошли — будто Хамовские выселки торчат на юру!

— Раз Хамовские выселки — тебе к месту! — сказал сведущий Пухов. — Слезай, пока на под'ем прем!

Старик почухался с мешком и покорно возразил:

— Машина ходко бежит, аж воздух журчит — жутко убиваться, господин машинист! Может, окоротить позволите на одну минутую — я враз.

— Обдумал! — осерчал Пухов. — Окоротить ему казенную машину в военное время! Теперь до самых Грязей остановки не будет!

Старик смолчал, а потом спросил особо покорным голосом:

— Сказывали, тормоза теперь могучие пошли — на всякую скороту окорот дают!

— Слазь, слазь, старик! — серчал Пухов. — Скороту ему окоротить! Не на каменную гору прыгаешь, а в снег! Так мягко придется, что сам полежишь — и потянешься еще!

Старик вышел на наружную площадку, осмотрел веревку на мешке — не для прочности, конечно, а для угона времени, чтобы духу набраться, — а потом пропал: должно, шлепнулся.

С Грязей снегоочистителю вручили приказ: вести за собой броневик и поезд Троцкого, пробивая траншею в заносах вплоть до Лисок.

Снегоочистителю дали двойную тягу: другой паровоз уступил поезд Троцкого — громадную спокойную машину Путиловского завода.

Тяжелый боевой поезд Троцкого всегда шел на двух лучших паровозах.

Но и два паровоза теперь обессилели от снега, потому что снег хуже песка. Поэтому не паровозы были в славе в ту мятежную и снежную зиму, а снегоочистители.

И то, что белых промила артиллерия бронепоездов под Давыдовкой и Лисками, случилось потому, что бригады паровозов и снегоочистителей крушили сугробы, не спя неделями и питаясь сухой кашей.

Пухов, например, Фома Егорыч, сразу почел такое занятие

обыкновенным делом и только боялся, что исчезнет махорка с вольного рынка; поэтому дома имел ее пуд, проверив вес на безмене.

Не доезжая станции Колодезной, снегоочиститель стал: два могучих паровоза, которые волокли его, как плуг, влетели в сугроб и зарылись по трубу.

Машинист-петроградец с поезда Троцкого, ведший головной паровоз, был выбит из сиденья и вышвырнут на тендер от удара паровоза в снег и мгновенной остановки. А паровоз его, не сдаваясь, продолжал буксовать на месте, дрожа от свирепой безысходной силы, яростно прессуя грудью горы снега впереди.

Машинист прыгнул в снег, катаясь в нем окровавленной головой и бормоча неслыханные ругательства.

К нему подошел Пухов, с четырьмя собственными зубами в кулаке — он стукнулся челюстью о рычаг и вытащил из рта ослабшие лишние зубы. В другой руке он нес мешочек со своими харчами — хлеб и пшено. Не глядя на лежащего машиниста, он засмотрелся на его замечательный паровоз, все еще бившийся в снегу.

— Хороша машина, сволочь!

Потом крикнул помощнику:

— Закрой пар, стервец, кривошипы порвешь!

С паровоза никто не ответил.

Положив харчи на снег и зашвырнув зубы, Пухов сам полез на паровоз, чтобы закрыть регулятор и сифон.

В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав южные беспомощные руки и с приплюсненной к штырю головой.

«И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темя, в самый материнский родничок хватило!» — обнаружил событие Пухов.

Остановив бег на месте бесившегося паровоза, Пухов оглядел все его устройство и снова подумал о помощнике:

«Жалко дурака: пар хорошо держал!»

Манометр, действительно, и сейчас показывал 13 атмосфер, почти



предельное давление,— и это после десяти часов хода в глубоком плотном снегу!

Метель стихла, переходя в мокрый снегопад. Вдалеке дымили на расчищенных путях броневик и поезд Троцкого.

Пухов с паровоза ушел. Рабочие снегоочистителя и начальник дистанции лезли по живот в снегу к паровозу. Со второго паровоза тоже сошла бригада, перевязав разбитые головы грязными обтирочными концами.

Пухов подошел к петроградскому машинисту. Тот сидел на снегу и прикладывал его к окровавленной голове.

— Ну, что,— обратился он к Пухову,— как стоит машина? Закрыл поддувала?

— Все на месте, механик! — ответил по-служебному Пухов,— помощник только твой убится, но я тебе Зворычного дам, парень умственный, только жрать здоров!

— Ладно,— сказал машинист.— Положи-ка мне хлеба на рану и портянкой окрути! Кровь, сатану, никак не затяну!

Из-за снегоочистителя выглянула милая усталая морда лошади, и через две минуты к паровозу под'ехал казачий отряд — человек пятнадцать.

Никто на них не обратил нужного внимания.

Пухов со Зворычным закусывали; Зворычный советовал Пухову непременно вставить зубы, только стальные и никкелированные — в Воронежских мастерских могут сделать: всю жизнь тогда не изотрешь о самую твердую пищу!

— Опять выбить могут! — возразил Пухов.

— А мы тебе их штук сто наделаем! — успокоил Зворычный.— Лишние в кисет в запас положишь!

— Это ты верно говоришь! — согласился Пухов, соображая, что сталь прочней кости и зубов можно наготовить массу на фрезерном станке.

Казачий офицер, видя спокойствие мастеровых, растерялся и охрип голосом.

— Граждане рабочие! — нарочито сказал офицер, ворочая полубезумными выветрившимися глазами. — Именем Великой Народной России приказываю вам доставить паровозы и снегочистьку на станцию Подгорное. За отказ — расстрел на месте!

Паровозы тихо сипели. Снег падать перестал. Дул ветер оттепели и далекой весны.

У машиниста кровь на голове свернулась и больше не текла. Он почесал сухую корку сукровицы и трудным, ослабевшим шагом пошел на паровоз.

— Пойти воды покачать и дров подложить — машину морозить неохота!

Казаки вынули револьверы и обружили мастеровых. Тогда Пухов рассерчал:

— Вот, сволочи, в механике не понимают, а командуют!

— Что-о? — захрипел офицер. — Марш на паровоз, иначе пулю в затылок получишь!

— Что ты, чортова кукла, пулей пугаешь! — закричал, забываясь, Пухов. — Я сам тебя гайкой смажу! Не видишь, что в перевал сели и люди поблились! Фулюган, чорт!

Офицер услышал короткий глухой гудок броневое поезда и обернулся, дожидая стрелять в Пухова.

Начальник дистанции лежал на шинели, постеленной на снег, и о чем-то мрачно размышлял, рассматривая хилое потеплевшее небо.

Вдруг на паровозе по-плохому закричал человек. То, наверно, машинист снимал со штыря своего разбитого помощника.

Казаки сошли с коней и бродили вокруг паровоза, как бы ища потерянное.

— По коням! — крикнул казакам офицер, заметя вывернувшийся из закругления бронепоезд. — Пускай паровозы, стрелять начну! — и выстрелил в голову начальника дистанции — тот и не вдрогнул, а только засучил густатыми ногами и отвернулся вниз лицом ото всех.

Пухов вскочил на паровоз и заревел во всю сирену прерыви-

стой тревогой. Догадливый машинист открыл паровой кран инжектора, и весь паровоз укутался паром.

Казачий отряд начал напрапалую расстреливать рабочих, но те забились под паровозы, проваливались, убегая в сугробы,— и все уцелели.

С бронепоезда, подошедшего к снегоочистителю почти вплотную, ударили из трехдвоймовки и прострочили из пулемета.

Отскакав саженой на двадцать, казачий отряд начал тонуть в снегах и был начисто расстрелян с бронепоезда.

Только одна лошадь ушла и понеслась по степи, жалобно крича и напрягая худое быстрое тело.

Пухов долго глядел на нее и осунулся от сочувствия.

С бронепоезда отцепили паровоз и подвели его сзади к снегоочистителю толкачом.

Через час, подняв пар, три паровоза продавили снежный перевал на путях и вырвались на чистое место.

## II

В Лисках отдыхали 3 дня.

Пухов обменял на олеонафт десять фунтов махорки и был доволен. На вокзале он исчитал все плакаты и тащил газеты из агитпункта для своего осведомления.

Плакаты были разные. Один плакат перемалевали из большой иконы — где архистратиг Георгий поражает змея, воюя на адовом дне. К Георгию приделали голову Троцкого, а змею-гаду нарисовали голову буржуя; кресты же на ризе Георгия-Победоносца зарисовали звездами, но краска была плохая, и из-под звезд виднелись опять-таки кресты.

Это Пухова удручало. Он ревниво следил за революцией, стыдясь за каждую ее глупость, хотя к ней был мало причастен.

На стенах вокзала висела мануфактура с агитационными словами:

В рабочие руки мы книги возьмем,  
Учись пролетарий, ты будешь умен!

— Тоже песклядно! — заключил Пухов. — Надо так написать, чтоб все дураки заочно поумнели!

*Каждый прожитый нами день — гвоздь в голову буржуазии. Будем же вечно жить — пускай терпит ее голова:*

— Вот это сурьезно! — расценивал Пухов. — Это твердые слова!

Подходит раз в Лискам поезд — хорошие пассажирские вагоны, красноармейцы у дверей, и ни одного мешочника не видно.

Пухов стоял в тот час на платформе у дверей и кое-что обдумывал.

Поезд останавливается. Из вагонов никто не выходит.

— Кто это прибыл с этим эшелонем? — спрашивает Пухов одного смазчика.

— А кто его знает? Сказывают, главный командир — один в целом поезде!

Из переднего вагона вышли музыканты, подошли к середине поезда, построились и заиграли встречу.

Немного погодя выходит из среднего мягкого вагона толстый военный человек и машет музыкантам рукой: будет, дескать, доволен!

Музыканты разошлись. Военный начальник не спеша сходит по ступенькам и идет в вокзал. За ним идут прочие военные люди — кто с бомбой, кто с револьвером, кто за саблю держится, кто так ругается, — полная охрана.

Пухов прошел вслед и очутился около агитпункта. Там уже стояла красноармейская масса, разные железнодорожники и жадные до образования мужики.

Приехавший военный начальник взошел на трибуну — и тут ему все захопало, не зная его фамилии. Но начальник оказался строгим человеком и сразу отрубил:

— Товарищи и граждане! На первый раз я прощаю, но заявляю, чтобы впредь подобных демонстраций не повторялось! Здесь не цирк, и я не клоун — хлопать в ладоши тут не по существу!

Народ сразу примолк и умильно уставился на оратора — особенно мешочники: может, дескать, лицо запомнит и посадит на поезд.

Но начальник, раз'яснив, что буржуазия целиком и полностью— сволочь, уехал, не запомнив ни одного умильного лица.

Ни один мешочник в порожний длинный поезд так и не попал: охрана сказала, что вольным нельзя ехать на военном поезде особого назначения.

— А он же шорожняком, — все едино — сплунить будет! — спорили худые мужики.

— Командарму пустой поезд полагается по приказу! — об'яснили красноармейцы из охраны.

— Раз по приказу — мы не спорим! — покорялись мешочники. — Только мы не в поезде сядем, а на сцепках!

— Нигде нельзя! — отвечали охранники. — Только на спице колеса можно!

Наконец, поезд уехал, постреливая в воздух — для испуга жадных до транспорта мешочников.

— Дела! — сказал Пухов одному деповскому слесарю. — Маленькое тело на сорока осях везут!

— Нагрузка маленькая — на канате вошь тащут! — на глаз измерил деповский слесарь.

— Дрезину бы ему дать — и ладно! — сообразил Пухов. — Тратят зря американский паровоз!

Идя в барак за порцией пищи, Пухов разглядывал по дороге всякие надписи и об'явления — он был любитель до чтения и ценил всякий человеческий помысел.

На бараке висело об'явление, которое Пухов прочитал непрерывно трижды:

#### «ТОВАРИЩИ - РАБОЧИЕ!

Штабом IX Рабоче-Крестьянской Красной армии формируются добровольные отряды технических сил для обслуживания фронтовых нужд Красных армий, действующих на Северном Кавказе, Кубани и Черноморском побережье.

Разрушенные железнодорожные мосты, береговые оборонительные сооружения, служба связи, орудийные ремонтные мастерские,

подвижные механические базы — все это, взятое в целом, требует умелых пролетарских рук, которых не хватает в действующих Красных армиях юга.

С другой стороны, без технических средств не может быть обеспечена победа над врагами рабочих и крестьян, сильных своей техникой, полученной задаром от антантовского империализма.

Товарищи рабочие! Призываем вас записываться в отряды технических сил у уполномоченных Реввоенсовета IX на всех ж.-д. узловых станциях. Условия службы узнавайте от товарищей уполномоченных. Да здравствует Красная армия!

Да здравствует рабоче-крестьянский класс!»

Пухов сорвал листок, приклеенный мукой, и понес его к Зворычному.

— Тронемся, Петр! — сказал Пухов Зворычному. — Какого шута тут коптить! По крайности, южную страну увидим и в море покупаемся!

Зворычный молчал, думал о своем семействе.

А у Пухова баба умерла и его тянуло на край света.

— Думай, Петруха! На самом-то деле: какая армия без слесарей! А на снегочистке делать нечего — весна уж в шпринку дует!

Зворычный опять молчал, жалея жену Анисью и мальчишку, тоже Петра, которого мать звала выпороточком.

— Едем, Петруш! — увещевал Пухов. — Горные горизонты увидим; да и честней как-то станет! А то видал — тифозных эшелонами прут, а мы сидим — пайки получаем!.. Революция-то пройдет, а нам ничего не останется! Ты, скажут, что делал? А ты што скажешь?..

— Я скажу, что рельсы от снегов чистил! — ответил Зворычный. — Без транспорта тоже воевать нельзя!

— Это што! — сказал Пухов. — Ты, скажут, хлеб за то получал, то работа нормальная! А чем ты бесплатно пожертвовал, спросят, чему ты душевно сочувствовал? Вот где загвоздка! В Воронеже, вон, бывшие генералы снег сгребают — и за то фунт в день получают! Так же и мы с тобой!

— А я думаю,— не поддавался Зворычный,— мы тут с тобой нужней!

— То никому не известно, где мы с тобой полезней! — нажимал Пухов.— Если только думать, тоже далеко не уедешь, надо и чувство иметь!

— Да будет тебе ерунду лить,— задосадовал Зворычный,— кто это считать будет — кто что делал, чем занимался? И так покоя нет от жизни такой! Тебе теперь все равно — один на свете — вот тебя и тянет, дурака! Небось, думаешь, бабу там покрасивше отыскать,— чувство-то понимаешь! Мужик ты не старьй — без бабы раздуешься скоро! Ну, и вали туда рысью!..

— Дурак ты, Петр! — оставил надежду Пухов.— В механике ты понимаешь, а сам по себе предрассудочный человек!

С горя Пухов и обедать не стал, а пошел к уполномоченному записываться, чтобы сразу управиться с делами. Но когда пришел — с'ел два обеда: повар к нему благоволил за полудку кастрюли и за умные разговоры.

— После гражданской войны я красным дворянином буду! — говорил Пухов всем друзьям в Лисках.

— Это почему ж такое? — спрашивали его мастеровые люди.— Значит, как в старину будет,— и землю тебе дадут?

— Зачем мне земля? — отвечал счастливый Пухов. — Гайки, что ль, сеять я буду? То будет честь и звание, а не угнетение.

— А мы, значит, красными вахлаками останемся? — узнавали мастеровые.

— А вы на фронт ползайте, а не чухайтесь по собственным домам! — выражался Пухов и уходил дожидаться отправки на юг.

Через неделю Пухов и еще пятеро слесарей, принятых уполномоченным, поехали на Новороссийск — в порт.

Ехали долго и трудно, но еще труднее бывают дела, и Пухов впоследствии забыл это путешествие. На дорогу им дали по пять фунтов воблы и по ковриге хлеба, поэтому слесаря были сыты, только пили воду на всех станциях.

В Екатеринодаре Пухов сидел неделю — шел где-то бой, и на Новороссийск никого не пропускали. Но в этом зеленом отплетом гордке давно притерпелись к войне и старались жить весело.

«Сволочи! — думал обо всех Пухов. — Времен не чувствуют!»

В Новороссийске Пухов пошел на комиссию, которая якобы проверяла знания специалистов.

Его спросили, из чего делается пар.

— Какой пар? — схитрил Пухов. — Простой или перегретый?

— Вообще... пар! — сказал экзаменующий начальник.

— Из воды и огня! — отрубил Пухов.

— Так! — подтвердил экзаминатор. — Что такое комета?

— Бродящая звезда! — об'яснил Пухов.

— Верно! А скажите, когда и зачем было 18-е брюмера? — перешел на политграмоту экзаминатор.

— По календарю Брюса 18 октября — за неделю по великой Октябрьской революции, освободившей пролетариат всего мира и все разукрашенные народы! — не растерялся Пухов, читавший что попало, когда жена была жива.

— Приблизительно верно! — сказал председатель проверочной комиссии. — Ну, а что вы знаете про судоходство?

— Судоходство бывает тяжелше воды и легче воды! — твердо ответил Пухов.

— Какие вы знаете двигатели?

— Компаунд, Отто-Дейц, мельницы, пошвенные колеса и всякое вечное движение!

— Что такое лошадиная сила?

— Лошадь, которая действует вместо машины.

— А почему она действует вместо машины?

— Потому, что у нас страна с отсталой техникой — корягой пашут, ногтем жнут!

— Что такое религия? — не унимался экзаминатор.

— Предрассудок Карла Маркса и народный самогон.

— Для чего была нужна религия буржуазии?

— Для того, чтобы народ не скорбел.



— Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в целом и согласны за него жизнь положить?

— Люблю, товарищ комиссар,— ответил Пухов, чтоб выдержать экзамен,— и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком!

— Это ясно! — сказал экзаминатор и назначил его в порт-монтером для ремонта какого-то судна.

Судно то оказалось катером, под названием «Марс». В нем керосиновый мотор не хотел вертеться — его и дали Пухову в починку.

Новороссийск оказался ветреным городом. И ветер-то как-то тут дул без толку: зарядит, дует и дует, даже посторонние вещи от него нагревались, а ветер был холодный.

В Крыму тогда сидел Врангель, а с ремонтом «Марса» большевики спешили — говорили, что Врангель морской набег думает сделать. так чтоб было чем защититься.

— Так у него ж английские крейсера! — объяснял Пухов, — а наш «Марс» — морская лодка, ее кирпичом можно потопить!

— Красная армия все может! — отвечали Пухову матросы. — Мы в Царицын на щепках приплыли, кулаками город шуровали!

— Так то ж драка, а не война! — сомневался Пухов. — А ядро не классовая вещь — живо ко дну пустит!

Керосиновый мотор на «Марсе» никак не хотел вертеться.

— Был бы ты паровой машиной, — рассуждал Пухов, сидя одиноко в трюме судна, я б тебя сразу замордовал! А то подлецом каким-то выдумана: ишь, провода какие-то, медяшки... путаная вещь!

Море не удивляло Пухова — качается и мешает работать.

— Наши степи еще попросторней будут, и ветер еще почище там, только не такой бестолковый; подует днем, а ночью тишина. А тут — дует и дует, дует и дует, — что ты с ним делать будешь?

Бормоча и покуривая, Пухов сидел над двигателем, который не шел. Три раза он его разбирал и вновь собирал, потом закручивал для пуска — мотор сипел, а крутиться упорствовал.

Ночью Пухов тоже думал о двигателе и убедительно переругивался с ним, лежа в пустой каютке.

Пришел раз к Пухову на «Марс» морской комиссар и говорит:

— Если ты завтра непустишь машину, я тебя в море без корабля пуцну, кошуша, чорт!

— Ладно, я пуцну эту сволочь, только в море остановлю, когда ты на корабле будешь! Копайся сам тогда, фулюган! — ответил как следует Пухов.

Хотел тогда комиссар пристрелить Пухова, но сообразил, что без механика — плохая война.

Всю ночь бился Пухов. Передумал заново всю затею этой машины, переделал ее по своему пониманию на какую-то новую машинку, удалил зазорные части и поставил простые — и в утру мотор бешено запыхал. Пухов тогда включил винт — мотор винт потянул, но тяжело задышал.

— Ишь,— сказал Пухов,— как чорт на Афон взбирается!

Днем пришел опять морской комиссар.

— Ну, что, пустил машину? — спрашивает.

— А ты думал, не пуцну? — ответил Пухов.— Это только вы пз-под Екатеринодара удрали, а я ни от чего не отступлю, раз надо!

— Ну, ладно, ладно,— сказал довольный комиссар.— Знай, что керосину у нас мало — береги!

— Мне его не пить — сколько есть, столько будет! — положительно заявил Пухов.

— Ведь мотор с водой идет? — спросил комиссар.

— Ну да,— керосин топит, вода охлаждает!

— А ты норови керосину поменьше, а воды побольше,— сделал открытие комиссар.

Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым голосом.

— Что ты, дурак, радуешься? — спросил в досаде комиссар.

Пухов не мог остановиться и радостно закатывался.

— Тебе бы не советскую власть, а всю природу учреждать надо,— ты б ее ловко обдумал! Эх ты, мехоноша!

Услышав это, комиссар удалился, потеряв некую внутреннюю честь.

А в Новороссийске шли аресты и разгром зажиточных людей.

«Чего они людей шуруют? — думал Пухов. — Какая такая гроза от этих шутов? Они и так дальше завалинки выйти боятся?»

Кроме арестов, по городу были расклеены бумаги: «Вследствие тяжелой медицинской усталости ораторов, никаких митингов на этой неделе не будет».

«Теперь нам скучно будет», — скорбел, читая, Пухов.

Меж тем, в порту появился маленький истребитель «Звезда». Там пробонну заклепывали и якорную лебедку чинили. Пухов туда ходил смотреть, но его не пустили.

— Чего это такое? — обиделся Пухов. — Я же вижу, там холуи работают. Я помочь хотел, а то случится в море неполадка!

— Не велено никого пускать! — ответил часовой-красноармеец.

— Ну, шут с вами, мучайтесь! — сказал Пухов и ушел, озабоченный.

К вечеру того же дня пришло в порт турецкое транспортное судно «Шаня». В клубе говорили, что это подарок Кемалья-паши, турецкого вождя, но Пухов сомневался:

— Я же видел, — говорил он красноармейцам, — что судно исправное! Станет вам турецкий султан в военное время такие подарки делать — у него самого нехватка!

— Так он друг наш, Кемаль-паша! — раз'ясняли красноармейцы. — Ты, Пухов, в политике — плетень!

— А ты снял онучи — думаешь, гвоздем стал? — обижался Пухов и уходил в угол, глядеть плакаты, которым он, однако, особо не доверял.

Ночью Пухова разбудил вестовой из штаба армии. Пухов немного испугался:

— Должно быть, морской комиссар гадит!

На дворе штаба стоял большой отряд красноармейцев в полном походном снаряжении. Тут же стояли трое мастеровых, но тоже в военных шинелях и с чайниками.

— Товарищ Пухов, — обратился командир отряда, — вы почему не в военной форме?

— Я и так хорош, чего мне чайник цеплять! — ответил Пухов и стал к сторонке.

Стояла ночь — огромная тьма — и в горах шуршали ветер и вода.

Красноармейцы стояли молча, одетые в новые шинели, и ни о чем не говорили. Не то они боялись чего-то, не то соблюдали гайну друг от друга.

В горах и далеких окрестностях изредка кто-то стрелял, уничтожая неизвестную жизнь.

Один красноармеец загремел винтовкой, — его враз утомили, и он почувал свой срам до самого сердца.

Пухов тоже что-то заволновался, но не выражал этого чувства, чтобы не шуметь.

Фонарь над конюшней освещал дворовую нечистоту и дрожал неясным светом на бледных ночных лицах красноармейцев. Ветер, нечаянно зашедший с гор, говорил о смелости, с которой он воюет над незащитными пространствами. Свое дело он и людям советовал — и те слышали.

В городе бесчинствовали собаки, а люди, наверно, тихо размножались. А тут, на глухом дворе, другие люди были охвачены тревогой и особым сладострастием мужества — оттого, что их хотят уменьшить в количестве.

Вышел на середину военный комиссар полка и негромко начал говорить, будто имел перед собой одного человека:

— Дорогие товарищи! Сейчас у нас не митинг, и я скажу немного... Высшее командование Республики приказало Реввоенсовету нашей армии ударить в тыл Врангелю, который сейчас догорает в Крыму. Наша задача как раз в том, чтобы переплыть на тех судах, которые у нас есть, Керченский пролив и высадиться на Крымском берегу. Там мы должны соединиться с действующими в тылу Врангеля красно-зелеными партизанскими отрядами и отрезать Врангеля от судов, куда он бросится, когда северная Красная армия прорвется через Перекоп. Мы должны разрушить мосты и дороги у Врангеля,

растерзать его тыл и загородить ему море, чтобы выжечь сразу всю эту заразу!

Красноармейцы! Добраться до Крыма нам будет тяжело, и это рискованная вещь. Там плавают дозорные крейсера, которые нас потопят, если заметят. Это я должен вам открыто сказать. А если и доплывем, то нам предстоит опасная смертельная борьба среди озверелого противника. Не много нас уцелеет, а может никого, когда Крым станет советским,— вот что я хочу вам сказать, дорогие товарищи-красноармейцы!

И далее того: я хочу спросить у вас, товарищи, согласны ли вы на это дело итти добровольно?

Чувствуете ли вы мужественную отвагу в себе, дабы пожертвовать достоинством жизни на благо революции и Советской Республики? Если кто боится или колеблется, у кого семья осталась и ему ее жалко,—пускай выйдет и скажет, чтобы ясно было, и мы освободим такого товарища!

Центральное наше правительство возлагает великую надежду на нашу операцию, чтобы поскорей покончить с войной и приступить к мирному строительству на фронте труда!

Я жду вашего ответа, товарищи - красноармейцы! Я должен сейчас же передать его Реввоенсовету армии!

Военный комиссар кончил речь, и стоял насупившись,—ему было хорошо и неловко. Красноармейцы тоже молчали. А у Пухова все дрожало внутри.

«Вот это дело,—думал он,—вот она, большевистская война,— нечего тут яйца высидывать!»

Никто уже не слышал ветра и не видел ночных гор. Мир затмился во всех глазах, как дальнейшее событие, каждый был занят общей жизнью. Фонарь на дворе тоже потух, израсходовав свой керосин, и никто этого не заметил.

Вдруг из рядов выступает один красноармеец и определенно говорит:

— Товарищ комиссар! Передайте Реввоенсовету армии и всему командованию, что мы ждем приказа о выступлении! Мы того не

ждали, чтобы нам оказали такую высокую честь и поручили прикончить Врангеля! Я в том убежден, что говорю от чистого сердца всех красноармейцев, если скажу, что, стало быть, мы благодарим, и также клянёмся отдать свою кровную силу и жизнь, раз то надо советской власти,—вот и все! Чего там волынку тянуть и чего ждать, раз люди в Советской России с голоду умирают, а тут сволоочь в Крыму сидит и мешается!

Красноармейцы заволновались и радостно загудели, хотя, по здравому смыслу, радоваться было нечему. Вышел еще один красноармеец и заявил:

— Правильно штаб сделал, что десант назначил. С Перекопа пусть Врангеля трахнут в морду, а мы разом в зад,—вот тогда он с корнем ляжет, и английские корабли ему спасенья не дадут!

Тут опять выходит комиссар:

— Товарищи - красноармейцы! Мы в штабе так и знали! Мы ждали от вас той высокой сознательности и беззаветности революции, которую вы сейчас здесь проявили! От имени Реввоенсовета и командования армии выражаю вам благодарность и прошу считать те слова, которые я сказал, военной тайной. Вы знаете, что Новоросийск полон белогвардейскими шпионами, и мы будем обречены на гибель, если кто что узнает! Приказ о выступлении будет дан особо. Спасибо, товарищи!

Комиссар спешно ушел, а красноармейцы еще стояли. Пухов дошел к ним и начал слушать. В первый раз в жизни ему стало так стыдно за что-то, что кожа покраснела под щетиной.

Оказалось, что на свете жил хороший народ, и лучшие люди не жалели себя.

Холодная ночь наливалась бурей, и одинокие люди чувствовали тоску и ожесточение. Но никто в ту ночь не показывался на улицах, и одинокие тоже сидели дома, слушая, как хлопают от ветра ворота. Если же кто шел к другу, спеша там растратить беспокойное время, то обратно домой не возвращался, а ночевал в гостях. Каждый знал, что его ждет на улице арест, ночной допрос, просмотр документов и долгое сидение в тухлом подвале, пока не установится, что сей чело-

всю жизнь побирался, или пока не будет одержана большевиками окончательная победа.

А меж тем, крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми,—без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооруженные люди готовы дважды быть растерзанными, лишь бы и враг с ними погиб, и жизнь ему не досталась.

Ночью Пухов играл с красноармейцами в шашки и рассказывал им о Троцком, которого никогда не видел.

Пухов, не видя удовольствия в жизни, привык украшать ее геройскими рассказами, и всем становилось от того веселей.

В отряде, назначенном в десант, было пятьсот человек,—и случилось, что все они из разных мест.

Поэтому на другой день пошло пятьсот писем в пятьсот русских деревень.

Целых полдня красноармейцы малевали и карякали бумагу, прощаясь с матерями, женами, отцами и более дальними родственниками.

Пухов тоже помогал, кто особо слаб был в буквах, и выдумывал такие письма, что красноармейцы одобряли:

— Складно ты пишешь, Фома Егорыч,—мои плакать будут!

— А то как же?—говорил Пухов,—хохотать тут нечего: дело не шуточное! Чудак ты человек!

После обеда Пухов пошел к комиссару:

— Товарищ - комиссар, меня в десант возьмете?

— Возьмем, товарищ Пухов, затем тебя и звали вчера на собрание! — ответил комиссар.

— Только я прошу, товарищ - комиссар, назначить меня механиком на «Шаню»,—там, я слышал, паровая машина, а на «Марсе» керосиновый мотор, он мне не сподручен: дюже мал!

— На «Шане», там есть свой механик—пурок!—сказал комиссар.—Ну, ладно: мы тебя в помощники назначим, а на «Марс»

возьмем шоффера! А ты что, не согласишься с керосиновым мотором, что ли?

— Мотор—ерундовая вещь, паровая машина крепче берет.— Неохота мне, товарищ - комиссар, в геройском походе с таким дерьмом возиться! Это примус, а не машина,—сами видите!

— Ну, ладно,—согласился комиссар,—поедешь на «Шане»,—раз так. В десанте люди едут добровольно, и делают что им способней! А уж в походе, брат, не мудри!..

Пухов взял пропуск и пошел на «Шаню»,—машину поглядеть. Ему лишь бы машина была, там он считал себя дома.

С турецким машинистом, он сошелся скоро, сказав, что главное дело—смазка, тогда никакой работой машину не погубишь.

— Это справедливо, — хорошо по-русски сказал турок, — масло—доброта, оно машину бережет! Кто масла много дает, тот любит машину, то есть механик!

— Ну, понятно,—обрадовался Пухов,—машина любит конюха, а не наездника: она живое существо!

На том они и подружили.

Ночью, против окрепшего ветра, отряд шел в порт на посадку. Пухов не знал, к кому ему притулиться, и шел сбоку, гремя полученным казенным чайником. Но красноармейцы сразу его одернули:

— Сказано—иди тайком, чего ты тромыхаешь?

— А чего мне таяться-то: не на грабеж идем!—сказал Пухов.

— Приказано не шуметь,—тихо ответил красноармеец Баронов,—затем и людей в городе в губчок попрятали, чтобы шпионов не было!

Шли долго и бесшумно, еле хрустя влажным песком. Огромные порожние склады стояли в темноте, и в них бурчал ветер. Голодные крысы металась всюду, питаясь неизвестно чем.

Ночь была непроглядна, как могильная глубина, но люди шли возбужденно, с тревожным восторгом в сердце, похожие на древних потаенных охотников.

Глубокие времена дышали над этими горами—свидетели му-



жества природы, посредством которого она только и существовала. Эти вооруженные путники также были полны мужества и последней смелости, какие имела природа, вздымая горы и фоя водоемы.

Только потому красноармейцам, вооруженным иногда одними кулаками, и удавалось ловить в степях броневые автомобили врага и разоружать, окорачивая, воинские эшелоны белогвардейцев.

Молодые, они строили себе новую страну для долгой будущей жизни, в неистовстве истребляя все, что не ладилось с их мечтой о счастье бедных людей, которому они были научены политруком.

Они еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость,—жалость потерять свое тело. Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они находились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей,—и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на под'ем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности.

В мрачной темноте засияли перемежающимся светом огни судовых сигналов. Отряд вступил на помост пристани. Сейчас же началась посадка.

На «Шаню» посадили весь отряд, на катер «Марс»—двадцать человек разведки, а на истребитель—военморов.

Пухов влез в машинное отделение «Шани» и почувствовал себя очень хорошо. Близ машины он всегда был добродушен. Он закурил и прохаркнулся громким голосом, устав молчать и выдувая из легких спертые, застоявшиеся газы.

Часа два еще тремели красноармейские башмаки по палубе и по трапам.

Чувствуя достаточное удовольствие от этих беспокойных событий, Пухов не усидел внизу и высочил на палубу.

Черные тела людей, трепещущие в неярком свете фонарей, тихо ползли по трапам, крепко прижав к себе винтовки и все походные принадлежности, чтобы ничто не стукнуло.

Ночь от фонарей стала еще огромней и темней,—не верилось, что существует живой мир. В глубинах тьмы тонул небольшой ветер, шевеля какие-то вещи на пристани.

Кратко и предостерегающе гудели парходы, что-то говоря друг другу, а на берегу лежала наблюдающая тьма и влекущая пустыня. Никакого звука не доходило из города, только с гор сквозило рокотание далекой быстрой реки.

Неиспытанное чувство полного удовольствия, крепости и необходимости своей жизни охватило Пухова. Он стоял, упершись спиной в лебедку, и радовался этой таинственной ночной картине—как люди молча и тайком собирались на гибель.

В давнем детстве он удивлялся пасхальной заутрене, ощущая в детском сердце неизвестное и опасное чудо. Теперь Пухов снова пережил эту простую радость, как - будто он стал нужен и дорог всем,—и за это всех хотел незаметно поцеловать. Похоже было на то, что всю жизнь Пухов злился и оскорблял людей, а потом увидел, какие они хорошие, и от этого стало стыдно, но чести своей уже не воротить.

Море покойно шуршало за бортом, храня неизвестные предметы в своих недрах. Но Пухов не глядел на море,—он в первый раз увидел настоящих людей. Вся прочая природа также от него отделилась и стала скучной.

К часу ночи посадка окончилась. С берега раздалось последнее приветствие от Реввоенсовета армии. Комиссар что-то рассеянно туда ответил, он был занят другим.

Раздалась морская резкая команда,—и сушь начала отдаляться. Десантные суда отчалили в Крым.

Через десять минут последняя видимость берега растаяла. Парходы шли в воде и в холодном мраке. Огни были потушены, людей разместили в трюме,—все сидели в темноте и духоте, но никто не засыпал.

Приказано было не курить, чтобы случайно не зажечь судна.

Разговаривать тоже запретили, так как командир и комиссар старались придать «Шане» безлюдный вид мирного торгового парохода.

Судно шло тайком, глухо отсекая пар. Где-то недалеко, затерянные в ночной гуще, ползли «Марс» и истребитель. Время от времени они давали о себе знать матросским длинным свистом. «Шаня» им отвечала коротким густым гудком.

Суда продирались в сплошной каше тьмы, напрягая свои небольшие машины.

Ночь проходила тихо. Красноармейцам она казалась долгой, как будущая жизнь. Возбуждение понемногу проходило, а длительная темнота постепенно напрягала душу тайной тревогой и ожиданием внезапных смертельных событий.

Море насторожилось и совсем примолкло. Винт греб невидимо что, какую-то тягучую влагу, и влага негромко мялась за бортом. Не спеша истекало томительное время. Горы бледно и застенчиво светились близким утром, но море уже было не то. Спокойное зеркало его, созданное для загляденья неба, в тихом иступлении смешало отраженные видения. Мелкие злобные волны изуродовали тишину моря и терлись от своего множества в тесноте, раскачивая водяные недра.

А вдали—в открытом море—уже шевелились грузные медленные горы, рыли шучины и сами в них дружились. И оттуда неслась по мелким гребням известковая пена, шипя, как ядовитое вещество.

Ветер твердел и громил огромное пространство, погасая где-то за сотни верст. Капли воды, выдернутые из моря, неслись в трясущемся воздухе и били в лицо, как камешки.

На горах, наверно, уже гоготала буря, и море свирепело ей навстречу.

«Шаня» начала метаться по расшевелившемуся морю, как сухой листик, и все ее некрепкое тело гуньло поскрипывало.

Каменный тяжелый норд-ост так раскачивал море, что «Шаня» то ползла в пропасти, окруженная валами воды, то взлетала на гору—и оттуда видны были на миг чьи-то далекие страны, где, казалось, стояла синяя тишина.

В воздухе чувствовалось тягостное раздражение, какое бывает перед грозой.

День давно наступил, но от норд-оста заходило, и красноармейцы стужились.

Родом из сухих степей, они почти все лежали в желудочном кошмаре; некоторые вылезли на палубу и, свесившись, блевали густой желчью. Отблевавшись, они на минуту успокаивались, но их снова раскачивало, соки в теле перемешивались и бурлили как попало, и красноармейцев опять тянуло на рвоту. Даже комиссар забеспокоился и неугомонно ходил по палубе, схватываясь при качке за трубу или за стойки. Блевать его не тянуло,—он был из моряков.

«Шаня» приближалась к самому опасному месту—Керченскому проливу, а буря никак не укрощалась, сляясь выхватить море из его глубокой обители.

«Марс» и истребитель давно пропали в пучинах урагана и на сигналы «Шани» перестали отвечать.

Командир «Шани» судном уже не управлял,—кораблем правила трепещущая стихия.

Пухов от качки не страдал. Он об'яснял машинисту, что это изжога ему помогает, которой он давно болеет.

С машиной тоже справиться было трудно: все время менялась нагрузка—винт то зарывался в воду, то выскакивал на воздух. От этого машина то визжала от скорости, трясясь всеми болтами, то затихала от перегрузки.

— Мажь, мажь ее, Фома, уснащивай ее попуще, а то враз запо-решь на таких оборотах!—говорил машинист.

И Пухов обильно питал машину маслом, что он уважал делать, и приговаривал:

— А-а, стервозия, я ж тебя упокою! Я ж тебя угромошу!

Часа через полтора «Шаня» проскочила Керченский пролив.

Комиссар спустился на минутку в машинное отделение прикурить, так как у него взмокли спички.

— Ну, как она?—спросил его Пухов.

— Она-то ничего, да он-то плох!—пошутил комиссар, улыбаясь усталым изработавшимся лицом.

— А что так?—не понял Пухов.

— А ничего—все хорошо,—сказал комиссар.—Спасибо норд-осту, а то бы нас давно белые угомонили!

— Это как же так?

— А так,—объяснил комиссар.—Керченский пролив охраняется у белых военными крейсерами. А от бури они все укрылись в Керченскую гавань, и поэтому нас не заметили! Понял?

— Ну, а прожекторами отчего нас не нащупывали?—допытывался Пухов.

— Ого! Вся атмосфера тряслась,—какие тут прожектора!

В полдень «Шаня» шла уже в крымских водах, но море попрежнему изнемогало в буре и устало билось в борт парохода.

Скоро на горизонте показался неизвестный дымок. Капитан судна, командир отряда и комиссар долго наблюдали за тем дымком. Потом «Шаня» взяла курс в открытое море—и дымок пропал.

Норд-ост не прекращался. Это несчастье радовало капитана и комиссара. Сторожевые белогвардейские суда считали бдительность в такой шторм излишней и сидели в береговых щелях.

Комиссар тем и объяснял, что «Шаня» цела, и надеялся на высадку десанта на берег, как только стихнет буря и наступит ночь.

Пухов не вылезал из машинного, обливаясь потом у бесившейся машины и страдая ее всякими словами.

В четвертом часу дня на горизонте сразу об'явились четыре дымка. Они стали ходко приближаться, как бы отхватывая «Шаню». Одно судно совсем разглядело «Шаню» и стало давать сигналы об остановке.

Красноармейцы, хоть и не догадывались—как и что, а тоже высыпали на палубу и заматались от любопытства.

Капитан «Шани» по дыму догадался, что одно из судов наверняка военный крейсер.

Выходило, что десанту пришло время добровольно пускать себя ко дну.

Капитан и комиссар не сходили с рубки, стараясь найти какой-нибудь исход для спасения. Всем красноармейцам приказано было уйти в трюм, чтобы судно противника не обнаружило военного значения «Шани».

Норд-ост ревел с неизбывной силой и сметал «Шаню» с ее курса. Четыре неизвестных корабля тоже с трудом удерживали курс и не могли принять направления на «Шаню».

Скоро три дымка исчезли из зрения,—их куда-то отшиб зверский норд-ост. Зато четвертое судно неотступно подбиралось к «Шане». Иногда уже явственно обнажался его корпус. Капитан разглядел, что это быстроходный и хорошо вооруженный торговый пароход и что он нагоняет «Шаню». Только шторм никак не допускает то судно подойти к «Шане» вплотную. Затем пароход стал допрашивать «Шаню»: куда она идет. «Шаня», войдя в крымские воды, шла под врангелевским флагом. На вопрос белогвардейского парохода «Шаня» ответила, что идет из Керчи в Феодосию и везет рыбу.

На палубе оставалось только четверо турок в костюмах своей родины, а все военные люди вместе с комиссаром и командиром десяти сидели в трюме. Поэтому, когда белые кущи подошли к «Шане», то только поглядели в бинокли и пошли прочь. Буксирировать «Шаню» они не захотели,—наверное из-за опасного шторма.

Остальной день прошел спокойно. Иногда показывались какие-то пароходы, но сейчас же исчезали: они боялись «Шани» еще больше, чем она их.

Красноармейцы, замученные тошнотой и сырым холодом, старались нарочно быть веселыми и стыдились отчего-то морской болезни. Им надоело тоскливое плавание, и они даже обрадовались, когда узнали, что подходит белогвардейский пароход, вооруженный четырьмя пушками.

Красноармейцам море было незнакомо, и они не верили, что та стихия, от которой только тошнит, таит в себе смерть кораблей.

— Пускай подходит!—сказал красноармеец-тамбовец.—Мы его смажем!

— Как же ты его смажешь?—спросил комиссар.—У него пушки на борту!

— А вот увидишь,—заявил тамбовец,—из винтовок так и смажем!

Привыкшие брать броневые автомобили на ходу, с одними винтовками в руках, красноармейцы и на море думали побеждать посредством винтовки.

Иногда мимо «Шани» проносились целые водяные столбы, об'ятые вихрем норд-оста. Вслед за собой они обнажали глубокие бездны, почти показывая дно моря.

Внезапно, после такого морского столба, показался пропавший ночью катер «Марс». Его совсем затрепало. Глыбы воды громили и друшили его оснастку и порогили совсем перекувыдрнуть. Но «Марс» упорно отфыркивался и метался по волнам, еле живой от своего упрямства. Он хотел пристать к «Шане», но волна откидывала его прочь в пучину.

Вся команда «Марса» и двадцать человек разведки, которую он вез, стояла на палубе, держась за снасти.

Люди что-то бешено кричали на «Шаню», но гром бури рвал их голоса и ничего не было слышно. Лица людей затмились бессмысленностью, глаза выцвели от злобного отчаяния, и смертельная бледность на них лежала, как белая намазанная краска.

Казнь наступающей смерти терзала их еще больше от близости «Шани». Люди на «Марсе» рвали на себе последнюю казенную одежду и рычали по-звериному, показывая даже кулаки. Они вопили сильнее бури, а один толстый красноармеец сидел верхом на рее и ел хлеб, чтобы зря не пропал паек.

Глаза гибнущих людей торчали от выпученной ненависти, и ноги их неистово колотили в палубу, обращая на себя внимание.

Пухов стоял наверху и глядел на «Марс».

— Чего они там бесятся?—спросил он у комиссара.—Тонут, что ли, или испугались чего?

— Должно - быть, течь у них,—ответил комиссар,—надо как-нибудь помочь!

Красноармейцев в трюме было не удержать. Они стояли на палубе и тоже что-то кричали на «Марс», позоря испуг несчастных.

Вся «Шаня» терзалась за отряд и команду «Марса»; командир в бешенстве кричал на капитана, комиссар тоже ему помогал, а капитан никак не мог подойти к «Марсу».

Когда «Шаню» подшвырнуло к «Марсу», то оттуда закричали, что вода уже в машинном отделении.

Еще послышалась с «Марса» гармоника,—кто-то там наигрывал перед смертью, пугая все законы человеческого естества.

Пухов это как раз явственно услышал, и чему-то обрадовался в такой неурочный час.

В затихшую секунду, когда «Марс» подскочил к «Шане», чистый голос, поверх криков, вторил чьей-то тамошней гармонике:

Мое яблочко  
Несоленое,  
В море Черное  
Уроненное...

— Вот сволочь!—с удовольствием сказал Пухов про веселого человека на «Марсе» и плюнул от бессильного сочувствия.

— Спускай лодку!—крикнул капитан, потому что «Марс» торчал одной палубой, а корпус его уже утонул.

Лодка, еле опущенная на воду, сейчас же трижды перевернулась, и два матроса на ней исчезли невидимо куда.

Вдруг крутой взмах шквала схватил «Марса» и швырнул его так, что он очутился над «Шаней».

— Сигай вниз!—заорал усердней всех Пухов.

Люди на «Марсе» задрогнули, помертвели до черноты лица и бросились как пошало вниз—на палубу «Шани». Падая на «Шаню», они валялись, как дохлые тела, и ломали руки стоявшим им, а Пухова совсем сшибли с ног. Это ему понравилось:

— Легче,— шумел он.— На Врангеля, черти, шли, а чистой воды бояться!

Через несколько секунд весь «Марс» сгрузился на «Шаню», только двое пролетели мимо, промахнувшись в морскую прорву.



На «Марсе» что-то гулко заныло, и он разлетелся от внутреннего взрыва в щепки и железки.

Пухов ходил среди спасенных людей и каждого спрашивал:

— Это не ты пел там?

— Нет, куды там петь!—отвечал красноармеец или матрос с «Марса».

— Да ты и не похож на того!—говорил недовольно Пухов и шел дальше.

Так ни одного и не нашлось,—никто, оказывается, не пел и на гармонике не играл. А ведь слышался звук—и даже слова песни Пухов запомнил.

Вечерело уже, а шторм лютовал и не собирался отдыхать.

— И откуда он, дьявол, выходит,—посмотрел бы я то место!—говорил себе Пухов, качаясь вместе с машиной в трюме.

Вечером начальство на «Шане» долго совещалось. «Шаня» имела большую перегрузку и к Крымскому берегу близко подойти не могла. К тому же норд-ост все время отжимал судно в открытое море, и десант высадить все равно нельзя. А долго задерживаться в море очень опасно,—первый сторожевой крейсер белых пустит «Шаню» на дно.

Совещались долго. Матросы не сдавались и советовали переждать шторм, а там видно будет.

— Ну, вернемся в Новороссийск,—говорил командир разведки матрос Шариков,—а там что? Во-первых, жары нагонят, что самовольно вернулись, а во-вторых, что же—все по-дурному пойдет: ведь Врангель цел останется!

— Ты, Шариков, забыл,—сказал ему военный комиссар,—что от «Марса» твоего одни щепки плавают, истребитель пропал,—тоже, должно, купается,—а «Шаня» кирпичом ворочается от нагрузки!.. Что ж, по-твоему, обязательно ему и «Шаню» на дно пустить?..

— Ну, как хочешь!—сказал Шариков.—Только и ворочаться дюже срамно!

Однако в ночи порешили, что надо уходить обратно на Новороссийск,

К полуночи nord-ост начал слабеть, но море носилось попрежнему. «Шаня» кое-как влекла себя домой.

В Керченском проливе ее нащупали береговые прожектора, но стрельбы из крепостных орудий белые не открыли. Может быть, потому, что на «Шаню» еще болтался обрывок вражеского флага.

Под утро «Шаня» выгружалась в Новороссийске.

— Срамота чортова!—обижались красноармейцы, собирая вещи.

— Чего ж срамота-то?—урезонивал их Пухов.—Природа, брат, погуще человека! Крейсера и то в береговых загогулинах стояли!

— Ничего,—говорил недовольный матрос Шариков,—вот Перекоп прошибут, тогда без нас, без сопливых обойдутся!

Так оно и случилось: Шариков как в озеро глядел.

В тот же вечер Реввоенсовет приказал повторить десант.

Отряд в ночь снова погрузился,—и «Шаня» подняла пары.

Шариков радостно метался по судну и каждому что-нибудь говорил. А военный комиссар чувствовал свою дурость, хотя в Реввоенсовете ему ничего плохого не сказали.

— Ты—рабочий?—спрашивал Шариков у Пухова.

— Был рабочий, а буду водолаз!—отвечал Пухов.

— Тогда почему ж ты не в авангарде революции?—совестил его Шариков.—Почему ж ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?..

— Да не верилось как-то, тов. Шариков,—объяснил Пухов.—да и партком у нас в дореволюционном доме губернатора помещался!

— Чего там дореволюционный дом!—еще пуще убеждал Шариков.—Я вот родился до революции—и то терплю!

Перед самым отходом комиссар десанта отлучился: пошел денешу дать о благополучном отплытии.

Через полчаса он вернулся, но на судно не пошел, а остался на пристани, смеялся и кричал:

— Слазь!

— Что ты, голова, очумел, что ли? Чего—слазь?—допрашивал его с борта Шариков.

— Слазь, говорю!—шумел комиссар.—Перекоп взят, Врангель бежит! Вот приказ—десант отменяется!

Шариков и прочие поникли.

— Вот тебе раз!—сказал один красноармеец.—Тут бы Врангеля и крыть в зад,—ведь он на корабли бежит,—а тут—отменяется!..

— Я ж говорил, что в Крыму без сопливых обойдутся!..—шатал Шариков, а кончил по-своему.

— Будя тебе ерепениться!—увещал Шарикова Пухов.—Пускай Врангель плывет,—другого кого-нибудь избузуешь!

— Эх!..—крикнул Шариков и треснул кулаком по стойке, добавив кой-какой словесный материал.

— Дуй вплавь через пролив!—посоветовал ему Пухов.—Ты вещь маленькая, тебя прожектор не ухватит! Высадишь себя—десант получится!

— И то!—сказал было Шариков, но потом одумался.—Вода только холодна, да и волна большая—сразу захлебнешься!

— А ты обожди погоду!—рассказывал Пухов.—А воздух в подштанники надуешь, станешь захлебываться, пробей дырочку и вздохнешь!

— Нет, то чушь, то не морское дело!—отказывался Шариков.

Через два дня стало известным, что пропавший истребитель добрался до Крымских берегов и высадил сто человек матросов.

— Я ж так и знал!—горевал Шариков.—На истребителе Кныш командовал, а я связался с сухопутной курицей!

### III

— Пухов! Война кончается!—сказал однажды комиссар.

— Давно пора,—одними идеями одеваемся, а шорток шегу!

— Врангель ликвидируется! Красная армия Симферополь взяла!—говорил комиссар.

— Чего не брать?—не удивлялся Пухов.—Там воздух хороший, солнцепек крутой, а советскую власть в спину вошь жжет, она и прет на белых!

— При чем тут вошь?—сердечно обижался комиссар.—Там сознательное геройство! Ты, Пухов, полный контр!

— А ты теории-практики не знаешь, товарищ-комиссар!—сердито отвечал Пухов.—Привык лупить из винтовки, а по науке-технике контртайпа необходима, иначе болт слетит на полном ходу! Понимаешь эту чушь?

— А ты знаешь приказ о трудовых армиях?—спросил комиссар.

— Это чтобы жлобы слесарями сразу стали и заводы пустили? Знаю! А давно ты их ноги вкрутую ставить научил?

— В Реввоенсовете не дураки сидят!—серьезно выразился комиссар.—Там взвесили за и против!

— Это я понимаю,—согласился Пухов.—Там—задумчивые люди, только жлоб механики враз не поймет!

— Ну, а кто ж тогда все чудеса науки и ценности международного империализма произвел?—заспорил комиссар.

— А ты думал паровоз жлоб сгондობил?

— А то кто ж?

— Машина—строгая вещь. Для нее ум и ученье нужны, а чернорабочий—одна сырая сила!

— Но ведь воевать мы научились?—сбивал Пухова комиссар.

— Шуровать мы горазды!—не сдавался Пухов.—А мастерство—нежное свойство!

По улице шла в баню рота красноармейцев и пела для бодрости.

Как родная меня мать  
Провожа-ала,  
На дорогу сухих корок  
Собира-ала!..

— Вот дьяволы!—заявил Пухов.—В приличном городе нищету проповедуют! Пели бы, что с пирогами провожала!

Время шло без тормозов. Пушки работали с постоянно уменьшающимся напряжением. Красноармейские резервы изучали от безделья природу и общество, готовясь прочно и долго жить.

Пухов посвежел лицом и лодырничал, называя отдых свойством рабочего человека.

— Пухов, ты бы хоть в кружок записался, ведь тебе скучно!— говорил ему кто-нибудь.

— Ученье мозги пачкает, а я хочу свежим жить!—иносказательно отговаривался Пухов, не то в самом деле, не то шутя.

— Оковалок ты, Пухов, а еще рабочий!—совестил его тот.

— Да что ты мне тень на плетень наводишь: я сам—квалифицированный человек!—заводил ссору Пухов,—и она продолжалась вплоть до оскорбления революции и всех героев и угодников ее. Конечно, оскорблял Пухов, а собеседник, разыгранный вдрызг, в удручении оставлял Пухова.

В глупом городе, с неровным порочным климатом, каким тогда был Новороссийск, Пухов прожил четыре месяца, считая с ночного десанта.

Числился он старшим монтером береговой базы Азовско-Черноморского пароходства. Пароходство это учредила новороссийская власть, чтобы Северный Кавказ поскорей на мирную страну походил. Но пароходы не могли тронуться, по случаю разлаженных машин,—и Северный Кавказ совершенно напрасно считал себя мирной морской державой.

Одна аульская стенная газета даже назвала Северный Кавказ «восточной советской Англией», вследствие наличия одного морского берега и четырех пароходов, которые пока не плавали.

Пухов ежедневно осматривал пароходные машины и писал рапорты об их болезни: «В виду сломатия штока и дезорганизованности арматуры, ведущую машину парохода «Нежность» пустить невозможно, и думать даже нечего. Пароход же по названию «Всемирный Совет», более взрывом котла и общим отсутствием топки, которая куда делась — нельзя теперь дознаться. Пароходы «Шаня» и «Красный Всадник» пустить в ход можно сразу, если сменить им разможенные цилиндры и сирены приделать, а цилиндры расточить теперь бессмысленное дело, так как чугуна готового земля не рождает, а в руде никто от революции руками не касается. Что же до расточки

цилиндров, то трудовые армии точить ничего не могут, потому что они скрытые хлебопашцы».

Иногда Пухов вызывал на личный доклад политком береговой базы. Пухов ему все рассказывал, как и что делается на базе.

— Чего ж твои монтеры делают? — спрашивал политком.

— Как что? Следят непрерывно за судовыми механизмами!

— Но ведь они не работают! — говорил политком.

— Что ж, что не работают! — сообщал Пухов. — А вредности атмосферы вы не учитываете: всякое железо — не говоря про медь — враз скиснет и опаршивеет, если за ним не последить!

— А ты бы там подумал и попробовал, может сумеешь поправить пароходы! — советовал политком.

— Думать теперь нельзя, товарищ политком! — возражал Пухов.

— Это почему нельзя?

— Для силы мысли пищи не хватает; паек мал! — разъяснял Пухов.

— Ты, Пухов, настоящий очковтиратель! — кончал беседу комиссар и опускал глаза в текущие дела.

— Это вы очковтиратели, товарищ комиссар!

— Почему? — уже занятый делом, рассеянно спрашивал комиссар.

— Потому, что вы делаете не вещь, а отношение! — говорил Пухов, смутно припоминая плакаты, где говорилось, что капитал не вещь, а отношение; отношение же Пухов понимал, как ничто.

В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял в окрестностях города и думал — сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка.

Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совокупляясь с ней при каждом шаге. Это даровое удовольствие, знакомое всем странникам, Пухов тоже ощущал не в первый раз. Поэтому движение по земле всегда доставляло ему телесную шредельсть — он шагал почти

со сладострастием и воображал, что от каждого нажатия ноги в почве образуется тесная дырка, и поэтому оглядывался: целы ли они.

Ветер тормозил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее. И Пухов шумел своей кровью от такого счастья.

Эта супружеская сплотовь цельной неперченной земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу.

Садясь в бурьян, Пухов отдавался отчету о самом себе и растекался в отвлеченных мыслях, не имеющих никакого отношения к его квалификации и социальному происхождению.

Вспоминая усопшую жену, Пухов горевал о ней. Об этом он никогда никому не сообщал, поэтому все действительно думали, что Пухов корявый человек и вареную колбасу на гробе резал. Так оно и было, но Пухов делал это не из похабства, а от голода. Зато потом чувствительность начинала мучить его, хотя горестное событие уже кончалось. Конечно, Пухов принимал во внимание силу мировых законов вещества и даже в смерти жены увидел их справедливость и примерную искренность. Его вполне радовала такая слаженность и гордая откровенность природы — и доставляла сознанию большое удовольствие. Но сердце его иногда тревожилось и трепетало от гибели родственного человека и хотело жаловаться всей круговой порuke людей на общую беззащитность. В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал, уткнувшись лицом в нагретую своим дыханьем землю, смачивая ее редкими неохотными каплями слез.

Все это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся.

В такие сосредоточенные часы даже далекий Зворычный был мил и дорог Пухову, и он думал — как бы хорошо встретиться с ним и побеседовать по душам.

Пухову казалось странным, что никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу.

Красноармейцы понемногу отпускатись из армии по домам и навсегда пропадали в дальних деревнях, унося свежесть и тайну революции. Город без них оставался дореволюционной сиротой, надевал пожелтый сюртук сукки и надлежало копался по своему хозяйству.

— Ну, ладно — уйду и я! — решил Пухов и со злобой степного человека поглядел на дикие горы, очертенело загромоздившие пешеходную землю.

О своем уходе Пухов начальнику не сказал, чтобы никого не удручать и себя не обременять.

Тронулся Пухов одиноким, как и прибыл сюда. Тоска по родному месту взяла его за живое, и он не понимал, как можно среди людей учредить Интернационал, раз родина — сердечное дело и не вся земля.

Со станции Тихорецкой поезда на Ростов не шли, а ходили в обратную сторону — на Баку.

Из Баку Пухов собирался дойти до родины — вкось по берегу Каспийского моря и по Волге, не особенно разбираясь в географии. Он думал, что на этом маршруте пшеницы больше растет, а сытно питаться любил.

В дороге, на пустой нефтяной цистерне, Пухов устал и опал туловищем. Ел он один пайковый хлеб, что получил еще в Новороссийске, — и то не в полную досталь.

На дороге встречались худые деревья, горькая горелая трава и всякий другой живой и мертвый инвентарь природы, ветхий от климатического износа и топота походов войны.

Историческое время и злые силы свирепого мирового вещества совместно трепали и морили людей, а они, поев и отоспавшись, снова жили, розовели и верили в свое особое дело. Погибшие, посредством скорбной памяти, тоже подгоняли живых, чтобы оправдать свою гибель и зря не преть прахом.

Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного со-



става и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность.

Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость.

Когда умерла его жена — преждевременно, от голода, запущенных болезней и в неизвестности, — Пухова сразу прожгла эта мрачная несправда и противозаконность события. Он тогда же почувал — куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили:

— У тебя даже масштаб велик, Пухов; наше дело мельче, но серьезней.

— Я вас не виню, — отвечал Пухов, — в шагу человека сдлин аршин, больше не шагнешь; но если шагать долго под-ряд, можно далеко зайти, — я так понимаю; а конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте, иначе бы шаг не получился.

— Ну, вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели, — объяснили коммунисты, и Пухов думал, что они ничего ребята, хотя напрасно бога травят, — не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли.

— А ты люби свой класс, — советовали коммунисты.

— К этому привыкнуть еще надо, — рассуждал Пухов, — а народу в шустоте трудно будет: он вам дров шаворочает от своего неуместного сердца.

В Баку Пухова приняли хорошо, потому что Пухов встретился с матросом Шариковым.

— Ты зачем приехал? — спросил Шариков, ворочая большие бумаги на дорогом столе и разыскивая в них толк.

— Укреплять революцию! — сразу заявил Пухов.

— А я, брат, Каспийское пароходство налаживаю, — только ни хрена не выходит! — просто объяснил Шариков.

— А ты чего писцом стал: бери молоток и латай корабли лично!—разрешил Пухов мучение Шарикова.

— Чудак ты, я ж всеобщий руководитель Каспийского моря! Кто ж тогда будет заправлять тут всей Красной флотилией?

— А чего ей заправлять, раз люди сами работать будут?—разъярял Пухов, ничего не думая.

Шариков, однако, скучал по корабельной жизни и тяжело вздыхал за писчим делом. Резолюции он клал лишь в двух смыслах: «пускай» и «не надо».

Ночевать и харчиться Пухов пошел к Шарикову. Шариков жил у одной вдовы по улице Шварца. В свободные вечера, когда не было собраний или еще чего необходимого, Шариков делал вдове табуретки, а читать ничего не мог. Говорил, что от чтения он с ума начинает сходить и сны по ночам видит.

— У тебя грузный корпус,—кровей много!—открыл ему Пухов.—А для умственной работы ряжка толста—тебе обязательно надо кровь слить!

— Куда ж ее слить?—искал спасения Шариков.

— Лей в ведро!—советовал Пухов.—Давай я тебя ножом полощу—паровоз тоже лишний пар спускает!

— Брось ты скрипеть!—отставлял Шариков.—Я теперь сам похудею—от одного покоя. Ты знаешь, я от боев и классовой солидарности всегда становлюсь гуще и комплектней телом, а как все пройдет—я сам усохну!

Пожил у Шарикова Пухов с неделю, поел весь запас пищи у вдовы и оправился собой.

— Что ты, едрена мать, как хворостина мотаешься, дай я тебя к делу пришью!—сказал однажды Шариков Пухову. Но Пухов не дался, хотя Шариков предлагал ему стать командиром нефтеналивной флотилии.

Баку Пухову не нравился. В другое время его бы не вытащить оттуда, а сейчас все машины стояли молча, и буровые вышки прели на солнце.

Песок неся ветром так, что жужжал и вцеплялся во все сква-

жины открытого лица, отчего Пухова разбирала тяжкая злоба. Жара тоже донимала, несмотря на неурочное время—октябрь.

Решил Пухов скрыться отсюда и сказал о том Шарикову, когда он пришел со своего служебного поста.

— Катись!—разрешил Шариков.—Я тебе путевку дам в любое место республики, хотя ты кустарь советской власти!

На третьи сутки Пухов тронулся. Шариков дал ему командировку в Царицын—для привлечения квалифицированного пролетариата в Баку и заказа заводам подводных лодок на случай войны с английскими интервентами, засевшими в Персии.

— Устроишь?—спросил Шариков, вручая командировку.

— Ну, вот еще,—обиделся Пухов.—Что там подводных лодок, что ль, не видели? Там, брат, целая металлургия!

— Тогда—сыпь!—успокоился Шариков.

— Ладно!—сказал Пухов, скрываясь.—Зря ты мне особых полномочий не дал и поезд на сорока осях! Я б напугал весь Царицын и сразу все устроил!

— Катись в общем порядке—и так примут коллективно!—ответил на прощанье Шариков и написал на клоччатобумажном отношении: «шускай». А в отношении рапортовалось о поглощении морской пучиной сторожевого катера.

#### IV

Начался у Пухова звон в душе от смуты дорожных впечатлений. Как сквозь дым, пробивался Пухов в потоке несчастных людей на Царицын. С ним всегда так бывало—почти бессознательно он гнался жизнью по всяким ущельям земли, иногда в забвении самого себя.

Люди шумели, рельсы стонали под ударами насильно вращаемых колес, пустота круглого мира колебалась в смрадном кошмаре, облекая поезд верещашшим воздухом, а Пухов внизывался в ветер вместе со всеми, влекомый и беспомощный, как косное тело.

Впечатления так густо затемняли сознание Пухова, что там не оставалось силы для собственного разумного размышления.

Пухов ехал с открытым ртом—до того удивительны были разные люди.

Какие-то бабы Тверской губернии теперь ехали из Турецкой Анатолии, носимые по свету не любопытством, а нуждой. Их не интересовали ни горы, ни народы, ни созвездия,—и они ничего нигде не помнили, а о государствах рассказывали, как про волостное село в базарные дни. Знали только цены на все продукты Анатолійского побережья, а мануфактурой не интересовались.

— Почему там веревка?—спросил одну такую бабу Пухов, замышляя что-то про себя.

— Там, милый, веревки и не увидишь—весь базар псходилил! Там почки барахлы дешевы, что правда, то правда, врать тебе не хочу!—рассказывала тверская баба.

— А ты не видела там созвездия креста—матросы говорили, что видели!—допытывался Пухов, как будто ему нужно было непременно знать.

— Нет, милый, креста не видала, его и нету,—там дюже звезды падучие! Подынешь голову, а звезды так и летят, так и летят—таково страховито, а прелестно!—расписывала баба, чего не видела.

— Что ж ты сменяла там?—спросил Пухов.

— Пуд кукурузы везу—за кусок холстины дали!—жалостно ответила баба и высморкалась, швырнув носовую очистку прямо на пол.

— Как же ты иноземную границу проходила?—допытывался Пухов.—Ведь для документов у тебя карманов нету!

— Да мы, милый, ученые, ай мы не знаем как!—кратко объяснила тверячка.

Один калека, у которого Пухов английским табаком угощался, ехал из Аргентины в Иваново-Вознесенск, везя пять пудов твердой, чистосортной пшеницы.

Из дома он выехал полтора года назад здоровым человеком. Думал сменять ножики на муку и через две недели дома быть. А оказывается, вышло и обернулось так, что ближе Аргентины он хлеба не нашел,—может, жадность его взяла, думал, что в Аргентине по-

жиков нет. В Месопотамии его искалечило крушением в туннеле—ногу отмяло. Ногу ему отрезали в багдадской больнице, и он вез ее тоже с собой, обернув в тряпки и закопав в пшеницу, чтобы она не воняла.

— Ну, как, не пахнет?—спрашивал этот мешочник из Аргентины у Пухова, почувствовав в нем хорошего человека.

— Маленько!—говорил Пухов.—Да тут не дознаешься: от таких харчей каждое тело дымит.

Хромой тоже нигде не заметил земной красоты. Наоборот, он беседовал с Пуховым о какой-то речке Курсавке, где ловил рыбу, и о траве доннике, посыпаемой для вкуса в махорку. Курсавку он помнил, донник знал, а про Великий или Тихий океан забыл и ни в одну пальму не взгляделся задумчивыми глазами.

Так весь мир и пронесся мимо него, не задев никакого чувства.

— Что ж ты так?—спросил у хромого Пухов про это, любивший картинку с видами таинственной природы.

— В голове от забот кляп сидел!—отвечал хромой.—Плывешь по морю, глядишь на разные чучелы и богатые державы,—а скучно!

Голод до того заострил разум у простого народа, что он полз по всему миру, ища пропитания и перехитрив законы всех государств. Как по своему уезду, путешествовали тогда безыменные люди по земному шару и нигде не обнаружили ничего поразительного.

Кто странствовал только по России, тому не оказывали почтения и особо не расспрашивали. Это было так же легко, как пьяному ходить в своей хате. Силы были тогда могучие в любом человеке, никакой рожон не считался обидой. Никто не жаловался на власть или на свое мучение—каждый ко всему притерпелся и вполне обжился.

На больших станциях поезд стоял по суткам, а на маленьких—по трое. Мужики-мешочники уходили в степь, косили чужую траву, чтобы мастерство не потерять, возвращались на станцию, а поезд все стоял и стоял, как приклеенный. Паровоз долго не мог скипятить воду, а скипятивши, дрова пожигал и снова ждал топлива. Но тогда вода в котле остывала.

Пухов загорюнился. В такие остановки он ходил по траве, ложился на живот, в канаву и сосал какую-нибудь желчную траву, из которой не теплый сок, а яд источался. От этого яда или еще от чего-то Пухов весь запаршивел, оброс шерстью и забыл, откуда и куда ехал и кто он такой.

Время скрутом шего стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли об'емистые виды природы. А надо всем лежал чад смутного отчаяния и терпеливой грусти.

Хорошо, что люди ничего тогда не чуюли, а жили всему на против.

В Царицыне Пухов не слез—там дождь шел и выюжило какой-то гололедицей. Кроме того, над Волгой шелестели дикие ветры, и все пространство над домами угнеталось злобой и скукой.

Вышел на привокзальный рынок Пухов—воблы сменять на запасные кальсоны, и плохо ему стало. Где-то пели петухи—в четыре часа пополудни,—один мастеровой спорил с торговкой о точности безмена, а другой тянул волынку на ливенской гармонии, сидя на брошенной шпале. В глубине города кто-то стрелял, и неизвестные люди ехали на телегах.

— Где тут заводы подводные лодки делают?—спросил Пухов гармониста-мастерового.

— А ты кто такой?—поглядел на него мастеровой и спустил воздух из музыки.

— Охотник из Беловежской пущи,— печально заярчл Пухов, вспомнив какое-то странное чтение.

— Знаю!—сказал мастеровой и заиграл унылую, но нахальную песню.—Вали прямо, потом вкось, выйдешь на буераки, свернешь на кузницу—там и спроси французский завод!

— Ладно! Дальше я без тебя знаю!—поблагодарил Пухов и побрел без всякого усердия.

Шел он часа три, на город не смотрел и чувствовал свою усталую сырую кровь.

Какие-то люди ездил и ходили — вероятно, по важному революционному делу. Пухов не сосредоточивался на них, а шел молча,

изредка соображая, что Шариков — это сволочь: заставил трудиться по ненужному делу.

Около конторы французского завода Пухов остановил какого-то механика, евшего на ходу белую булку.

— Вот — видишь! — подал ему Пухов мандат Шарикова.

Тот взял документ и вник в него. Читал он его долго, вдумчиво и ни слова не говоря. Пухов начал зябнуть, трепеща на воздухе оскуделым телом. А механик все читал и читал — не то он был неграмотный, не то очень интересующийся человек.

На заводе, за высоким старым забором, стояло заунывное молчанье — там жило давно остывшее железо, съедаемое ленивой ржавчиной.

День скрывался в серой ветреной ночи. Город мерцал редкими огнями, мешавшимися со звездами на высоком берегу. Густой ветер шумел, как вода, и Пухов почувствовал себя безродным... заблудившимся человеком.

Механик, или тот, кто он был, прочитал весь мандат и даже осмотрел его с тыльной стороны, но там была голая чистота.

— Ну, как? — спросил Пухов и поглядел на небо. — Когда цеха управятся с заказом?

Механик помазал языком мандат и приложил его к забору, а сам пошел вдоль местоположения завода к себе на квартиру.

Пухов посмотрел на бумажку на заборе и, чтобы не сорвал ее ветер, надел на шляпку высунувшегося гвоздя.

Обратно на вокзал Пухов дошел скоро. Ночной ветер и какая-то дождливая мелюзга доконали его самочувствие, и он обрадовался дыму паровоза, как домашнему очагу, а вокзальный зал показался ему милой родиной.

В полночь тронулся поездной состав неизвестного маршрута и назначения.

Осенний холодный дождь порол землю и страшно было за пути сообщения.

— Куда он едет? — спросил Пухов людей, когда уже влез в вагон.

— А мы знаем — куда? — сомнительно произнес кроткий голос невидного человека. — Едет — и мы с ним.

## V.

Всю ночь шел поезд, — гремя, мучаясь и напуская кошмары в костяные головы забывшихся людей.

На глухих стоянках ветер шевелил железо на крыше вагона, и Пухов думал о тоскливой жизни этого ветра, и жалел его. Он соображал еще о мельницах-ветрянках, о пустых деревенских сараях, где сейчас севозит буря, и об общей беспризорности огромной порожней земли.

Поезд трогался куда-то дальше. От его хода Пухов успокаивался и засыпал, ощущая теплоту в ровно работающем сердце.

Паровоз подолгу гудел на полном ходу, пугая темноту и прося о безопасности. Выпущенный звук долго метался по равнинам, водоразделам и ущельям и ломался оврагами на другой страшный голос.

— Пухов! — тихо и тулко послышалось Пухову во сне.

Он сразу проснулся и сказал:

— А?

Весь вагон сопел в глубоком сне, а под полом бушевали колеса на большой скорости.

— Ты чего? — вновь спросил Пухов тихим голосом, но знал, что нет никого.

Давно забытое горе невнятно забормотало в его сердце и в сознании — и, прижукнувшись, Пухов застонал, стараясь поскорее утихнуть и забыться, потому что не было надежды ни на чье участие. Так он томился долгие часы и не интересовался несущимся мимо вагона пространством. Разжигая в себе отчаяние, он устал и пришел к своему утешению во сне.

Спал Пухов долго — до полного разгара дня. Солнце подсушило осенние кочки и сияло горящим золотом, ровной радостью и звенело высоким напряженным тоном.

По полю изредка и вразброд стояли худые смиренные деревья.



Они рассеянно помахивали ветками, бесстыдно оголенные перед смертью, — чтобы зря не пропадали их одежды.

В эти последние дни перед снегом вся живая зелень поверхности земли была поставлена под расстрел холода, заморозков и длинной ночной тьмы. Но — предварительно — скупая природа раздевала растения и разносила ветрами замерзшие, полуживые семена.

Листья утрамбовывались дождями в почву и прели там для удобрения; туда же укладывались для сохранности семена. Так жизнь скупо и прочно заготовлялась впрок. От таких событий у очевидца Пухова слюни на губах показывались, что означало удовольствие.

Ездоки поездного состава неизвестного назначения проснулись на заре — от холода и потому, что прекратились сношения. Пухов против всех опоздал и вскочил тогда, когда начала стрелять отлежанная нога.

Так как еды у него не было, то он закурил и уставился в пустую позднюю природу. Там ликовал прохладный свет низкого солнца и беззащитно трепетали придорожные кусты от плотного восточного утренника. Но дали на резком горизонте были чисты, прозрачны и привлекательны. Хотелось соскочить с поезда, прощупать ногами землю и полежать на ее верном теле.

Пухов удовлетворился своим созерцанием и крепко выразился обо всем:

— Гуманно!

— Сосна пошла! — сказал какой-то сведущий старичок, невший три дня. — Должно, грунт тут песчаный!

— А какая это губерния? — спросил у него Пухов.

— А кто ж ее знает — какая! Так, какая-нибудь! — ответил равнодушно старичок.

— А тогда куда ж ты едешь? — рассерчал на него Пухов.

— В одно место с тобой! — сказал старичок. — Вместе вчерась сели — вместе и доедем.

— А ты не обознался — ты погляди на меня! — обратил на себя внимание Пухов.

— Зачем обознаться? Ты тут один рябой — у других кожа гладкая! — раз'яснил старичок и стал расчесывать какую-то зуду на пояснице.

— А ты лаковый, что ль? — обиделся Пухов.

— Я не лаковый. мое лицо нормальное! — определил себя старичок и для поощрения погладил бурую щетину на своих щеках.

Пухов пристально оглядел старика в целом и плюнул рикошетом наружу, не обращая на него дальнейшего внимания.

Вдруг загремел мост — и в вагон потянуло свежей проточной водой.

— Что это за река, ты не знаешь, как называется? — спросил Пухов одного черного мужика, похожего на колдуна.

— Нам неизвестно, — ответил мужик. — Как-нибудь называется!

Пухов вздохнул от голодного горя и после заметил, что это — родина. Речка называется Сухой Шошей, а деревня в сухой балке — Ясной Мечою; там жили старoverы, под названием яйценосцы. От родины сразу понесло дымным запахом хлеба и нежной вонью остывающих трав.

Пухов погустел голосом и об'явил от сердечной доброты:

— Это город Шохаринск! Вон агрономический институт и кирпичный завод! За ночь мы верст четыреста угомонили!

— А тут — не знаешь, товарищ, — меняют аль нет? — спросил чуть дышавший старичок. хотя у него не было чего менять.

— Здесь, отец, не променяешь — у рабочих скулья жевать разучились! А рабочих тут пропасть! — сообщил Пухов и стал подтягивать ремешок на животе, как бы увязывая себя за отсутствием багажа.

Старый серый вокзал стоял таким же, как и в детстве Пухова, когда он тянул его на кругосветное путешествие. Пахло углем, жженой нефтью и тем запахом таинственного и тревожного пространства, какой всегда бывает на вокзалах.

Народ, обратившийся в нищих, лежал на асфальтовом перроне и с надеждой глядел на прибывший порожняк.

В депо сопели дремаvппе паровозы, а на путях беспокойно тре-

палась маневровая кукушка, собирая вагоны в стада для угона в неизвестные края.

Пухов шел медленно по залам вокзала и с давним детским любопытством и каким-то грустным удовольствием читал старые объявления-рекламы, еще довоенного выпуска:

*Паровые молотилки „Мак-Кормик“.*

*Локомобили Вольфа с пароперегревателем.*

*Колбасная Диц.*

*Волжское пароходство „Самолет“.*

*Лодочные моторы Иохим и К°.*

*Велосипеды Пежо.*

*Безопасные дорожные бритвы Гейльман и С-я,—*

и много еще хороших объявлений.

Когда был Пухов мальчишкой, он нарочно приходил на вокзал читать объявления — и с завистью и тоской провожал поезда дальнего следствия, но сам нигуда не ездил. Тогда как-то чисто жилось ему, но позднее ничего не повторилось.

Сойдя со ступенек вокзала на городскую улицу, Пухов набрал светлого воздуха в свое пустое голодное тело и исчез за угольным домом.

Прибывший поезд оставил в Похаринске много людей. И каждый тронулся в чужое место — погибать и спасаться.

## VI

— Зворычный! Петя! — глухо позвал слесарь Иконников.

— Что ты? — спросил Зворычный и остановился.

— Можно — я доски возьму?

— Какие доски?

— Вон те — шесть шелевок! — тихо сказал Иконников.

Дело было в колесном цехе Пожаринских железнодорожных мастерских. Погребенный под пылью и железной стружкой, цех молчал. Редкие бригады возились у токарных станков и гидравлических прессов, налаживая их точить колесные бандажи и надевать оси. Старая грязь и копоть висела на балках махрами, пахло

сыростью и мазутом, разреженный свет осени мертво сиял на механизмах.

Около мастерских росли купыри и лопухи, теперь одеревеневшие от старости. На всем пространстве двора лежали изувеченные неимоверной работой паровозы. Дикие горы железа, однако, не походили на природу, а говорили о погибшем техническом искусстве. Тонкая арматура, точные части ведущего механизма указывали на напряжение и энергию, трепетавшие когда-то в этих верных машинах. Эшелоны царской войны, железнодорожную гражданскую войну, степную скачку срочных продовольственных маршрутов — все видели и вынесли паровозы, а теперь залегли в смертном обмороке в деревенские травы, неуместные рядом с машиной.

— А на что тебе доски? — спросил Зворычный Иконникова.

— Гроб сделать — сын помер! — ответил Иконников.

— Большой сын?

— Семнадцать лет!

— Что с ним?

— От тифа!

Иконников отвернулся и худой старой рукой закрыл лицо. Этого никогда Зворычный не видел, и ему стало стыдно, жалко и неловко. Вот — человек всю жизнь мучился, работал и молчал, а теперь жалостно и беззащитно закрыл свое лицо.

— Кормил-кормил, растил-растил, питал-питал! — шептал про себя Иконников, почти не плача.

Зворычный вышел из цеха и пошел в контору.

Контора была далеко — около электрической силовой станции. Зворычный прошел всю дорогу без всякого сознания, только шевеля ногами.

— Скоро пресс наладить? — спросил его комиссар мастерских.

— Завтра к вечеру попробуем! — равнодушно доложил Зворычный.

— Как, слесаря не волнуются? — заинтересовался комиссар.

— Ничего. Двое с обеда ушли — кровь из носа пошла от сла-

бости. Надо какие-нибудь завтраки, что ль, наладить, а то дома у каждого детишки — им все отдает, а сам голодный падает на работе!..

— Ни черта нету, Зворычный!.. Вчера я был в Ревкоме — красноармейцам паек урезали... Я сам знаю, что надо хоть что-нибудь сделать!

Коммиссар мрачно и утомленно засмотрелся в мутное, загаженное окно и ничего там не увидел.

— Сегодня ячейка, Афонин! Ты знаешь? — сказал Зворычный коммиссару.

— Знаю! — ответил коммиссар. — Ты в электрическом цехе не был?

— Нет! А что там?

— Вчера большой генератор ребята пробовали пускать — обмотку сожгли. А два месяца, черти, латали!

— Ничего — где-нибудь замыкание. Это оборудуют скоро! — решил Зворычный. — У нас, вот, ни угля, ни нефти нет — ты вот что скажи!

— Да, это хреновина большая! — неопределенно высказался коммиссар и не сдержался — улыбнулся наверно на что-то надеялся, или так просто — от своего сильного нрава.

Вошел Икоаников:

— Я те шелевки заберу!

— Бери, бери! — сказал ему Зворычный.

— Зачем ты доски-то раздаешь, голова? — недовольно спросил Афонин.

— Брось ты — он на гроб взял, сын умер!

— А, шу, я не знал! — смутился Афонин. — Тогда надо бы помочь человеку еще чем-нибудь!

— А чем? — спросил Зворычный. — Ну, чем помочь? Брехать только! Хлеба ему дать, — так нам самим пайки в урез дают — даже меньше против числа едоков! Ты же сам знаешь.

После разговора Зворычный пошел прямо домой. Уже темнело, и носились по пустырям грачи, под'еая там кое-что. По старой

привычке, Зворычному хотелось есть. Он знал, что дома есть горячая картошка, а про революционное беспокойство — можно подумать потом.

Вытирая об дерюжку сапоги в сенцах, Зворычный услышал, что кто-то посторонний бурчит в комнате с его женой.

Зворычный подумал, что теперь горшка картошек не хватит, и вошел в комнату. Там сидел Пухов и похихатывал от своих рассказов жене Зворычного.

— Здорово, хозяин! — сказал Пухов первым.

— Здравствуй. Фома Егорыч! Ты откуда явился?

— С Каспийского моря — пришел к тебе курятины поесть! Ты любил петухов — я тоже теперь во вкус вошел!

— У нас тут пост, Фома Егорыч, — кормимся спрехвала и несдобно!...

— Губерния голодная! — заключил Пухов. — Почва есть, а хлеба нету, значит — дураки живут!

— Жена, ставь ему пареную картошку! — сказал Зворычный. — А то он не утихнет!

Пухов разулся, развесил на печку сушить портянки, выгреб солому и крошки из волос и совсем водворился. Поев картошки и закусив шкурками, он воскрес духом.

— Зворычный! — заговорил Пухов. — Почему ты вооруженная сила? — и показал на винтовку у лежанки.

— Да я тут в отряде особого назначения состою. — пояснил Зворычный и вздохнул, потому что думал о другом.

— Какого значения? — спросил Пухов. — Хлеб у мужиков ходишь, что съ, отнимать?

— Особого назначения! На случай внезапных контрреволюционных выступлений противника! — внушительно пояснил Зворычный это темное дело.

— Ты кто ж такой теперь? — до всего дознавался Пухов.

— Да так — революции помаленьку сочувствую!

— Как же ты сочувствуешь ей—хлеб, что ль, лишний получаешь, иль мануфактуру берешь? — догадывался Пухов.

Тут Зворычный сразу раздражился и осерчал. Пухов подумал, что теперь ему ужинать не дадут. Жена Зворычного скребла чего-то кочережкой в печке и тоже была женщина злая, скупая и до всего досужая.

Зворычный начал выпукло объяснять Пухову свое положение.

— Знаем мы эти мелкобуржуазные сплетни! Неужели ты не видишь, что революция — факт твердой воли — налицо!..

Пухов якобы слушал и почтительно глядел в рот Зворычному, но про себя думал, что он дурак.

А Зворычный перегрелся от возбуждения и подошел к цели мировой революции.

— Я сам теперь член партии и секретарь ячейки мастерских! Понял ты меня? — закончил Зворычный и пошел воду пить.

— Стало быть, ты теперь властинушку имеешь? — высказался Пухов.

— Ну, при чем тут власть!—еще не напившись, обернулся Зворычный.— Как ты ничего не понимаешь? Коммунизм — не власть, а святая обязанность.

На этом Пухов смирился, чтобы не злить хозяев и не потерять архистанища.

Вечером Зворычный ушел на ячейку, а Пухов лег полежать на сундуке. Керосиновая лампа горела и тихо пищала. Пухов слушал ниск и не мог догадаться — отчего это такое. Он хотел есть, а попросить боялся — и покуривал натошак.

Пухов помнил, что у Зворычного должен быть мальчишка — раньше был.

— Мальчугана - то отправили, что ль, куда, иль у родни ночует?—между прочим, поинтересовался Пухов у хозяйки.

Та закачала головой и закрыла глаза фартуком — в знак своего горя.

Пухов примолк и задумался, хотя знал, что горе бабы неразумно.

«Оттого Петька и в партию залез.— сообразил Пухов.—

Мальчонка умер — горе небольшое, а для родителя тоска. Деться ему некуда, баба у него — отравя, он и полез!»

Когда все забылось, хозяйка послала его дров поколоть. Пухов пошел и долго возился с сукноватыми поленьями. Когда управился, он почувствовал слабость во всем корпусе и подумал — как он стал маломощен от недоедания.

На дворе дул такой же усердный ветер, что и в старое время. Никаких революционных событий для него, стервеца, не существовало. Но Пухов был уверен, что и ветер со временем укротят посредством науки и техники.

В одиннадцать часов возвратился Зворычный. Все попили тыквенного чаю без сахара, с'ели по две картофелины и собирались укладываться спать.

Пухов остался на ночь на сундуке, а Зворычный с женой полезли на печь. Пухов этому удивился — в былое время он не любил спать с женой: духота, теснота, клопы жрут, — а этот с осени на печь влез.

Однако дело его было постороннее, и он спросил Зворычного, когда все утихло:

— Петя! Ты не спишь?

— Нет, а что?

— Мне бы занятие надо! Что ж я у тебя нахлебником буду жить!

— Ладно, это устроим — завтра поговорим! — сказал сверху Зворычный и зевнул так, что кожа на лице полопалась.

«Зазнаваться начал, серый чорт: в партию записался!» — подумал Пухов на сон грядущий и, слабая ото сна, открыл рот.

На другой день Пухова приняли слесарем на гидравлический пресс — он снова очутился за машиной, на родном месте.

Двое слесарей были старые знакомые, обоим им порознь Пухов рассказал свою историю — как раз то, что с ним не случилось, а что было — осталось неизвестным, и сам Пухов забывать начал.

— Ты бы теперь вождем стал, чего ж ты работаешь? — говорили слесаря Пухову.



— Вождей и так много, а паровозов нету! В дармоедах я состоять не буду! — сознательно ответил Пухов.

— Все равно, паровоз соберешь, а его из пушки расшибут! — сомневался в полезности труда один слесарь.

— Ну, и пускай—все-ж-таки упор снаряду будет!—утверждал Пухов.

— Лучше в землю пусть стреляют: земля мягче и дешевле! — стоял на своем слесарь.— Зачем же зря технический продукт портить?

— А чтоб всему круговорот был! — раз'яснял Пухов несведущему.— Паяк берешь — паровоз даешь, паровоз в расход — бери другой паяк и все с начала делай! А так бы харчам некуда деваться было!

Пожил Пухов у Зворычного еще с неделю, а потом переехал на самостоятельную квартиру.

Очутившись дома, он обрадовался, но скоро заскучал и стал ежедневно ходить в гости к Зворычному.

— Что ты? — спрашивал его Зворычный.

— Скучно там, не квартира, а полоса отчуждения! — ответил ему Пухов и что-нибудь рассказывал про Черное море, чтобы не задаром чай пить.

— Был у нас Шариков — чепуха человек, но матрос. Угля у меня не хватило, я и вернулся из-под Крыма. А в Крыму тогда белые сидели, а чтоб они не убежали, их англичане сторожили на громадных боевых кораблях... Прибыл я в Новороссийск благополучно и даю сигналы, чтоб еду на лодке доставили — есть захотел. Хорошо, а только ерундово как-то. В городе стреляют день и ночь — не от опасности, а от хамства. Я все ем, а есть охота, даже воображения в голове нету. Вдруг подплывает Шариков: ты зачем, говорит, безвременно прибыл? Я ему: проголодался, говорю, и уголь весь погорел. Он — мужик сытый! — как схватил меня, так во всем облачении и сбросил в море. «Плыви, кричит, десантом на Врангеля — после расскажешь». Я сначала испугался, а потом

обтерпелся в воде и поплыл с отдышкой. К ночи я добился до Крыма. Вылез на сушу противника и лег в кусты. А потом укрылся песком и заснул. Под утро меня пробрало, и я ооченел. А днем отогрелся на солнышке и поплыл обратно — на Новороссийск. Тут я форменно спешил, потому что есть захотел хуже вчерашнего...

— Доплыл? — спросил Зворычный.

— Уцелел! — заканчивал Пухов. — По морю плыть легко, лишь бы бури не оказалось — тогда жутко...

— А Шариков тебе что? — узнавал Зворычный.

— Шариков говорит — молодец, я тебя к Красному герою представляю! Видал, — спрашивает, — противника? А я ему: нет там никакого противника — в Симферополе Ревком, зря я там на песке сидел. — Не может, — говорит, — быть! — Ну, вот — спать же — не может быть: плыви тогда сам наверху! А извещения тогда шли тихо — телеграфной проволоки не хватало, материал ржавый. И верно, через день весь Крым советская власть взяла. Я так и знал, оказывается. Вот тогда Шариков и назначил меня начальником горных шедр...

— А Красного героя ты получил? — удивился Зворычный.

— Получил, конечно. Ты слушай дальше. За самоотречение, вездесущность и предвидение — так и было отштамповано на медали. Но скоро на пшено пришлось ее сменять в Тихорецкой.

После чая Пухову никак не хотелось уходить. Но Зворычный начинал дремать, вздыхать — Пухов совестился и прощался, с порога договаривал последний рассказ.

Ночью, бредя на покой, Пухов оглядывал город свежим глазами и думал: какая масса имущества! Будто город он видел в первый раз в жизни. Каждый новый день ему казался утром небывалым, и он разглядывал его, как умное и редкое изобретение. К вечеру же он уставал на работе, сердце его дурнело и жизнь для него протухла.

Приходя от Зворычного, Пухов печку топить ленился и кутался сразу во все свои одежды. Дом был населен неплотно: жила где-то

еще одна семья, а между нею и комнатой Пухова стояли пустые помещения. Если Пухову не спалось, он ставил лампу на табуретку у койки и принимался читать какую-нибудь агитпропаганду. Ею удружил его Зворычный.

Когда Пухов ничего не понимал, он думал, что писал дурак или бывший дьячок, и от отсутствия интереса сейчас же засыпал.

Снов он видеть не мог, потому, что как только начиналось ему что-нибудь сниться, он сейчас же догадывался об обмане и громко говорил: да ведь это же сон, дьяволы! — и просыпался. А потом долго не мог заснуть, проклиная пережитки идеализма, который Пухов знал благодаря чтению.

Раз шли они со Зворычным после гудка с работы. Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром.

Пухов чувствовал свою телесную нечистоту, думал о тоске, живущей на его квартире, и шел, препинаясь тяжелыми ногами.

Зворычный махнул рукой на дома и смачно сказал:

— Общность! Теперь идешь по городу, как по своему двору.

— Знаю, — не согласился Пухов. — твое — мое — богатство! Было у хозяина, а теперь ничье!

— Чудак ты! — посмеялся Зворычный. — Общее — значит твое, но не хищнически, а благоразумно. Стоит дом — живи в нем и храни в целом, а не жги дверей по буржуазному самодурству. Революция, брат, забота!

— Какая там забота, когда все общее, а по-моему — чужое! Буржуй ближе крови дом свой чувствовал, а мы что?

— Буржуй потому и чувствовал, потому и жадно берет, что награбил: знал, что самому не сделать! А мы делаем и дома и машины — кровью, можно сказать, лезим, — вот у нас-то и будет кровно бережливое отношение: мы знаем, чего это стоит! Но мы не скушимся над имуществом — другое сможем сделать. А буржуй весь трясся над своим хламом!

— Шарик у тебя работает — вижу! — непохоже на себя за-

явил Пухов.— Не то ты жрать разучился! Помнишь, как ты лопал на снегоочистителе?

— При чем тут — жрать? — обиделся Зворычный. — Понятно, мозг любит плотную пищу, без нее тоже не задумаешься!

Здесь они расстались и скрылись друг от друга. Подходя к своему дому, Пухов вспомнил, что жилище называется очагом.

— Очаг, чорт: ни бабы, ни костра!

## УП

На сладкой и влажной заре, когда Пухову тепла на войне не хватало, треснуло стекло в оконной раме. Гулко закатился над городом орудийный залп.

В голове Пухова это беспокойство пошло сонным воспоминанием о южной новороссийской войне. Но он сейчас же разоблачил свою фантазию:—ты же сон, дьявол!—и открыл глаза. Залп повторился так, что дом заерзал на почве.

«Будет тебе бухтеть-то!» — не соглашался с действительностью Пухов и стал зажигать лампу для проверки законов природы. Лампа зажглась, но сейчас же потухла от третьего залпа — снаряд наверно разорвался на огороде.

Пухов одевался.

«Какой скот забрел с пушками по такой грязи?» — и не гадался.

На улице Пухову показалось дымно и жарко. Явственно и близко рубцевал воздух пулемет. Пухов любил его: похож на машину и требует охлаждения.

В здание Губпродкома ударила картечь—и оттуда понесло гарью.

— У них нет снарядов, раз по городу картечью бьют,—собрал Пухов: он знал, что сюда нужна граната.

Было безлюдно, тревожно и ничего не известно.

Вдруг на монастырской колокольне тихо зазвонили. Пухов вздрогнул и остановился, чутко слушая этот звон с перерывами.

Монастырь стоял на бугре и господствовал над городом и сте-

пями за речной долиной. В уличный просвет Пухов заметил раннее утро над тихим далеким лугом, заволоченным туманным газом.

От монастыря до мастерских лежала верста. Пухов покрыл ее срочным шагом, не обращая внимания на свирепеющий бой, к которому можно скоро привыкнуть.

В мастерских он не нашел никого. На вокзальных путях стоял броневой поезд и был в направлении утренней зари, где был мост.

В проходной стоял комиссар Афонин и еще два человека. Афонин курил, а другие пробовали затворы винтовок и устанавливали их в ряд.

— Пухов, винтовку хочешь?—спросил Афонин.

— А то нет!

— Бери любую!

Пухов взял и освидетельствовал исправность механизма.

— А масла нет? Туго затвор ходит!

— Нет, нету—какое тебе масло тут?—отказал Афонин.

— Эх вы, воители! Давай патроны!

Получив патроны, Пухов спросил ручную гранату: невозможно, говорит, без нее: это бой сухопутный,—когда я на Черном море бился, и то там гранаты давали.

Ему дали гранату.

— Зачем она тебе, их и так у нас мало!—заявил Афонин.

— Без нее нельзя. Матросы всегда этого ежика пушают, когда деться некуда!

— Ну, вали, вали!

— Куда итти-то?

— К мосту за рощу—там наша цепь.

Нагруженный Пухов побрел по путям. Проходя мимо бронепоезда, он заметил там матросов.

Пухов залез на подножку и постучал в блиндированную дверцу. Дверца туго пошла по патентованному устройству, и в скважину просунулся матрос.

— Тебе чего, сыч?

— Шарикова тут нету?

— Нету.

— Распахни-ка мне ход, я приказ тебе дам.

— Ну, сыпь скорей.

В металлическом вагоне парилась тесная духота и веял промежуточный сквозняк. Замки трехдюймовых орудий воняли салом, по кругу было технически хорошо. Сидевший в башне за пулеметом матрос постреливал короткой частотой куда-то в поле, за кирпичные сараи, и пробовал рукою хоботок пулемета: не перепревается ли?

К Пухову подошел большой главный матрос:

— Ты что, братшкa? Говори чаще.

— Вдарь-ка, друг, по монастырской колокольне. Там у них наблюдатель.

— Ладно, Федька! По колокольне: прицел его десять, трубка деревясто—на снос!

Матрос взял бинокль и стал проверять действие снаряда.

Пухов ушел успокоенный. Идя по песчаному балласту железной дороги, он разговаривал в воздух. В синей лощине, закрытой укромным кустарником, шел бой. За железнодорожным мостом спешно работала артиллерия, сокрушая шрапнелью лощину. За мостом, наверное, стоял бронепоезд противника.

Тяжелая артиллерия—шестидюймовки—издалека была по городу. Город от нее давно и покорно горел.

Растопыренные умершие травы росли по откосу насыпи, но они тоже вздрагивали, когда недалекий бронепоезд из-за моста метал снаряд.

На вокзале работал бронепоезд красных, за мостом—белых, в пяти верстах друг от друга. Снаряды журчали в воздухе над головою Пухова, и он на них поглядывал. Одни летели за мост, другие обратно. Но вплотную не встречались.

В кустарнике лощины лежали рабочие—живые и мертвые. Живых было меньше, но они стреляли на ту сторону реки сдельно—за себя и за мертвых.

Пухов тоже прилег и пригляделся. Видны были товарные вагоны, маленький дом полустанка и какой-то железный брак на путях.

Мастеровых от белых отделяла речка и долина, всего полторы версты.

«В чего же мы стреляем?—соображал Пухов.—Пули из страха переводим!»

Сосед его, помощник машиниста Кваков, перестал стрелять и посмотрел на Пухова.

— Что ж ты?—спросил его Пухов и выстрелил в шевельнувшийся предмет у станционного домика.

— Живот заболел—часа два бузую с сырой земли.

— А в кого мы стреляем?

— В белых—не знаешь, что ль?

— В каких белых? А где же Красная армия?

— Она на том конце города кавалерию сдерживает. Это генерал Либославский наскочил—у него конницы—тьма.

— А чего же мы раньше ничего не знали?

— Как не знали? Это, брат, конница—сегодня она у нас, а завтра в Орле будет.

— Чудно!—сказал Пухов с досадой.— Лежим, стреляем, аж пузо болит, а ни в кого не попадаем. Ихний броневик давно прицел нашел—и крошит нас помаленьку.

— Что ж будешь делать-то: надо отбиваться!—ответил Кваков.

— Чуть какая: смерть не защита!—окончательно выяснил Пухов и перестал стрелять.

Шрапнель визжала низко и, останавливаясь на лету, со злобой рвала себя на куски. Эти куски вонзились в головы и в тела рабочих, и они, повернувшись с живота навзничь, замирали навсегда. Смерть действовала с таким спокойствием, что вера в научное воскресение мертвых, казалось, не имела ошибки. Тогда выходило, что люди умерли не навсегда, а лишь на долгое, глухое время.

Пухову это надоело. Он не верил, что если умрешь, то жизнь возвратится с процентами. А если и чувствовал что-нибудь такое, то знал, что нынче надо победить как раз рабочим, потому что они

делают паровозы и другие научные предметы, а буржуи их только изнашивают.

Стрельба рабочих глохла и редела; над рекою стоял чад сторевших снарядов. Кваков сел, не обращая внимания на войну, и собирал махорочную пыль по карманам. Пухов выжидал, пока он ее соберет, чтобы тоже попросить на цыгарку.

— Ни санитаров, ни докторов у нас нет, ни лекарства—липовое хозяйство!—сказал Кваков, глядя на одного раненого, шевелившегося в бреду.

Раненый хотел подползти к Квакову и открывал глаза, но, не осилив с тяжестью век, снова закрывал их.

Кваков погладил его голову по редким старым волосам:

— Тебе чего, друг?

Раненый тихо гудел странным отвыкшим голосом, собираясь что-то сказать.

— Ну, чего? — говорил Кваков и сам мучился.

Раненый дополз до него и поднял грузную, мокрую голову, с которой капал крупный пот. Кваков принял к нему.

— Забей мне гвоздь в ухо поскорей!—сказал раненый и свалился от напряжения.

Кваков потер ему ухо и лег близко рядом, как бы защищая его от мучения и от новых ран.

Осколки шрапнели вцеплялись в землю в сажени от Пухова и бросали ему в лицо гравий и рваную почву.

Сзади неожиданно подошел Афонин и тоже прилег.

— Ты тут, Пухов? На ихнем бронепоезде снарядов нету, — скоро пойдем в атаку на станцию.

— Будя дурака валять,—кто это узнавал, что снарядов у них нет? Чего наш-то бронепоезд плохо бьет; ведь знает прицел, давно бы их сшибить можно...

Афонин не успел ответить и куда-то побежал, пригибаясь на открытых местах.



Через минуту весь отряд железнодорожников менял позицию,— перебежал через овраг на молочную ферму и там залег за сараями.

Пухов снова увидел Афонина. Он стоял за каменным амбаром и договаривался о чем-то с двумя слесарями, державшими по буханке хлеба.

Пухов подошел к Афонину, чтобы сказать о необходимости пищи, но по дороге он обдумал другое. Из-за амбара были видны линия, мост и броневик белых. Линия шла с крутым уклоном из Пухаринска на полустанок, где стоял белый бронепоезд.

Пухов подождал, пока кончит Афонин разговаривать со слесарями, и тогда разъяснил ему, что пора подумать, пора что-нибудь умственно схитрить, раз прямой силой белых не прогнать.

— Видишь, какой уклон из города на полустанок?

— Ну, вижу! — сказал Афонин.

— Ага,—вижу! Давно бы тебе надо его увидеть! — осерчал Пухов. — А где Зворычный?

— Тут. На что он тебе?

В городе загудел ураганный артиллерийский огонь, и послышался сплошной, долгий крик большой массы людей.

— Что это? — обернулся туда Афонин. — Белые, что ль, ворвались? Должно, наших томят.

Пухов прислушался. Голоса смолкли, а снаряды попрежнему бурили воздух над городом и, падая, крушили тяжелое, колкое вещество зданий.

Через пять минут Пухов и Зворычный ушли в город—на вокзал.

— А есть там груженный балласт? — спрашивал Зворычный.

— Есть — у литейного цеха десять платформ стоит! — говорил Пухов.

— Но ведь паровозов нет, — куда ж мы идем? — опять сомневался Зворычный.

— Да мы на руках их выкатим, голова! Потом заправим на главный путь, раскатим—и бросим. А за пять верст они сами разбегутся так, что от белого броневика одни шматки останутся!

— А рабочие где, — вдвоем на руках не выкатим!

— А мы матросов с нашего бронепоезда попросим. Мы по одному вагону будем выкатывать, а потом сцепим и бросим под уклон всем составом.

— Едва ли с броневика матросов дадут, — никак не согласился Зворычный. — Броневик на два фронта бьет — и по кавалерии, и за мост...

— Дадут, там ходкие ребята! — уверял Пухов.

Афонин жалел, что согласился с Пуховым. Он думал, что Пухов просто сбежал из отряда и выдумал про балласт, — никаких платформ с песком Афонин в мастерских не видал.

К обеду бой утих. Броневик белых изредка постреливал по речной долине, ища красных. Наш бронепоезд совсем молчал.

«Там матросня, — думал Афонин, — наморочит им голову этот Пухов».

Однако он не отрывался глазами от линии и сказал мастеровым о замысле Пухова.

— Ну, как, десять груженных платформ сшибут белый броневик или нет? — спрашивал Афонин.

— Если скорости наберут, то сшибут — ясно! — говорил машинист Варежкин, водивший когда-то царский поезд.

Он же первый в половине второго расслышал бег колес на линии и крикнул Афонину:

— Гляди туда!

Афонин выбежал за амбар и присел на корточки, озирая весь путь. Из выемки с ветром и лихою игрою колес вылетел состав без паровоза и в момент вскочил на затрепетавший под такую скоростью мост.

Афонин забыл дышать и от какого-то восторга печально взмок глазами. Состав скрылся на мгновение в гуще вагонов полустанка, и сейчас же там поднялось облако песчаной пыли. Потом раздался резкий, краткий разлом стали, закончившийся раздраженным треском.

— Есть! — сказал сразу успокоившийся Афонин и побежал вперед всего отряда на полустанок.

По песку и раскопанным грядкам картошек бежать было очень тяжело. Надо иметь большое очарование в сердце, чтобы так трудиться.

По мосту отряд пошел своим шагом — каждый считал белый бронепоезд разбитым и бессильным.

Отряд обошел пакгауз и тихо выбрался на чистую середину путей. На четвертом пути стоял чистый целый бронепоезд, а на главном — крошево фуража, песка и дребедень размятых, порванных вагонов.

Отряд бросился на бронепоезд, зачумленный последним страхом, превратившимся в безысходное геройство. Но железнодорожников начал резать пулемет, заработавший с молчка. И каждый лег на рельсы, на путевой балласт или на ржавый болт, некогда оторвавшийся с поезда на-ходу. Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы.

У Афонина три пули защемили сердце, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем. За каждой пулей он мог следить отдельно — с такой остротой и бдительностью он подразумевал совершающееся.

«Ведь я умираю—мои все умерли давно!»—подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания.

Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз Афонина: отнялось небо, исчез бронепоезд, потух светлый воздух, остался только рельс у головы. Сознание все больше сосредоточилось в точке, но точка сияла спрессованной ясностью. Чем больше сжималось сознание, тем ослепительней оно проясняло в последние мгновенные явления. Наконец, сознание начало видеть только свои тающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность.

В побелевших открытых глазах Афонина ходили тени текущего

грязного воздуха — глаза, как куски прозрачной горной породы, отражали осиротевший одним человеком мир.

Рядом с Афониним успокоился Кваков, взмокнув кровью, как заржавленный.

На это место с бронепоезда сошел белый офицер, Леонид Маевский. Он был молод и умен, до войны писал стихи и изучал историю религий.

Он остановился у тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком.

Маевскому надоела война, он не верил в человеческое общество — и его тянуло к библиотекам.

«Неужели они правы? — спросил он себя и мертвых. — Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиночество. Века мы мучаем друг друга — значит надо разойтись и кончить историю».

До конца своего последнего дня Маевский не понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю.

Поздно вечером бронепоезд матросов вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупами — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела. Его последняя неверующая скорбь равнялась равнодушию пришедшего шотом матроса, обменявшего свою обмундировку на его.

Ночью два поезда стояли рядом, наполненные спящими и мертвыми людьми. Усталость живых была больше чувства опасности, — и ни один часовой не стоял на затихшем полустанке.

Утром два броневых поезда пошли в город и помогли сбить и расстрелять белую кавалерию, двое суток рвавшуюся на город и еле сдерживаемую слабыми отрядами молодых красноармейцев.

### VIII

Пухов прошелся по городу. Пожары потушли, кое-какое недвижимое имущество погибло, но люди остались полностью.

Оглядев по-хозяйски город, вечером он сказал Зворычному:

— Война нам убыточна — пора ее кончить!

Зворычный чувствовал себя помощником убийцы и молча держал свой характер против Пухова. А Пухов знал себя за умного человека и говорил, что бронепоезд никогда не ставят на четвертый путь, а всегда на главный—это белые правил движения не знали.

— Все-ж-таки мы им дров намолали и жуть намалали!

— Иди ты к чорту! — ценил Пухова Зворычный. — У тебя всегда голова свербит без учета фактов,—тебя бы к стенке надо!

— Опять же—к стенке! Тебе говорят, что война — это ум, а не драка. Я Врангеля шпокал, англичан не боялся, а вы от конных наездников целый город перепутали!

— Каких наездников? — спрашивал злой и непокойный Зворычный. — Кавалерия — это тебе наездники?

— Никакой кавалерии и не было! А просто — верховые бандиты! Выдумали какого-то генерала Любовского, — а это атаман из Тамбовской губернии. А броневой поезд они захватили в Балашове, — вот и вся музыка. Их и было-то человек пятьсот...

— А откуда же белые офицеры у них?

— Вот тебе раз, — отчубучил! Так они ж теперь везде шляются—новую войну ищут! Что я их не знаю, что ль? Это—люди идейные, в роде коммунистов.

— Значит, по-твоему, на нас налетела банда?

— Ну да, банда! А ты думал — целая армия? Армию на юге прочно уgomонили.

— А артиллерия у них откуда? — не верил Пухову Зворычный.

— Чудак-человек! Давай мне мандат с печатью — я тебе по деревням в неделю сто пушек наберу.

Дома Пухов не ел и не пил — нечего было — и томился одним размышлением. Природу хватал мороз, и она сдавалась на зигу.

Когда начали работать мастерские, Пухова не хотели брать на работу: ты — сукин сын, говорят, иди куда-нибудь в другое место! Пухов доказывал, что его несчастный десант против белых — дело

ума, а не подлости, и пользовался, пока-что, горячим завтраком в мастерских.

Потом ячeyка решила, что Пухов—не предатель, а просто придурковатый мужик, и поставила его на прежнее место. Но с Пухова взяли подписку — пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячeyке: человек—сволочь, ты его хочешь от бывшего бота отучить, а он тебе Собор Революции построит!

— Ты своего добьешься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут! — серьезно сказал ему секретарь ячeyки.

— Ничего не шпокнут! — ответил Пухов. — Я всю тактику жизни чувствую.

Зимовал он один — и много горя хлебнул: не столько от работы, сколько от домоводства. К Зворычному Пухов ходить совсем перестал: глупый человек, схватился за революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А вся революция—простота: переключил белых — делай разнообразные вещи.

А Зворычный мудрил: паровозное колесо согласовывал с Карлом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства — и забыл, как делается это колесо. Но Пухов втайне подумывал, что нельзя жить зря и бестолково, как было раньше. Теперь наступила умственная жизнь, чтобы ничто ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта, — выпишут в издержки революции, как путевой балласт.

Но, ворочаясь головой на подушке, Пухов чувствовал свое бушующее сердце и не знал, где этому сердцу место в уме.

Сквозь зиму Пухов жил медленно, как лез в скважину. Работа в цехе отягощала его — не тяжестью, а унынием.

Материалов не хватало, электрическая станция работала с ше-ребоями—и были длинные мертвые простоя.

Нашел Пухов одного друга себе — Афанасия Перевощикова, бригадира из сборочного цеха, но тот женился, занялся брачным делом, и Пухов остался опять одним. Тогда он и понял, что женатый чело-

век, то-есть состоящий в браке, для друга и для общества — человек бракованный.

— Афанас, ты теперь не цельный человек, а бракованный! — говорил Пухов с сожалением.

— Э, Фома, и ты со щербиной: торец стоит и то не один, а рядышком с другим!

Но Пухов уже привык к своей комнате, ему казалось, что стены и вещи тоскуют по нем, когда он на работе.

Когда зима начала подогреваться, Пухов вспомнил про Шарикова: душевный парень — не то сделал он подводные лодки, не то нет?

Два вечера Пухов писал ему письмо. Написал про все — про песчаный десант, разбивший белый бронепоезд с одного удара, про Коммунистический Собор, на зло всему народу построенный летом на Базарной площади, про свою скуку вдаль от морской жизни и про все другое. Написал он также, что подводные лодки в Царицыне делать не взялись — мастера забыли, с чего их начинать, и не было кровельного железа. Теперь же Пухов решил выехать в Баку, как только получит от Шарикова мандат по почте. В Баку много стоячих машин по нефтяному делу, которые должны двинуться, так как в России есть дизеля, а на море моторы... зря пропадающие без работы. Сверх того, морское занятие серьезней сухопутного, а морские десанты искуснее песчаных.

У Пухова три раза стреляла рука, пока он карякал буквы: с самого новороссийского десанта ничего писаного не видал, — отвык от чистописания.

«До чего ж письмо — тонкое дело!» — думал Пухов на передышке и писал, что в мозг попадало.

На конверте он обозначил:

*„Адресату морскому матросу Шарикову.  
В Баку—на каспийскую флотилию“*

Целую ночь он отдыхал от творчества, а утром пошел на почту сдавать письмо.

— Брось в ящик! — сказал ему чиновник. — У тебя простое письмо!

— Из ящичков писем не вынимают, — я никогда не видел! Отправь из рук! — попросил Пухов.

— Как так не вынимают? — обиделся чиновник. — Ты по улице ходишь не во-время, вот и не видишь!

Тогда Пухов просунул письмо в ящик и осмотрел его устройство.

— Не вынают, дьяволы, — ржавь кругом!

На политграмоту Пухов не ходил, хотя и подписал ячейкину бумажку.

— Что ж ты не ходишь, товарищ? Приглашать тебя надо? — строго спросил его однажды Мокров, новый секретарь ячейки (Зво-рычного сменили за помощь Пухову в песчаных платформах).

— Чего мне ходить, — я и из книг все узнаю! — раз'яснял Пухов и думал о далеком Баку.

Через месяц пришел ответ от Шарикова.

«Ехай скорее, — писал Шариков, — на нефтяных просках делов много, а мозговитых людей мало. Сорочь живет всюду, а не хватает прилежности убрать ее внутрь Советской России. Все ждут англичан, — что нам шкворень выдернут. Пускай дергают, мы тогда на передке поедем. А мандата тебе выслать не могу — их секретарь составляет, у него и печать, а я его арестовал. Но ты ехай — харчи будут».

Прочитав текст письма, Пухов изучил штемпеля: действительно, Баку, и лег спать, осчастливленный другом.

Уволили Пухова охотно и быстро, тем более, что он для рабочих смутный человек. Не враг, но какой-то ветер, дующий мимо паруса революции.

## IX

Не все так хорошо доезжают до Баку, но Пухов доехал: он попал на порожнюю цистерну, гонимую из Москвы прямым и скорым сообщением в Баку.



Виды природы Пухова не удивили: каждый год случается одно и то же, а чувство уже деревянеет от усталой старости и не видит остроты разнообразия. Как почтовый чиновник, он не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвеньем сердца, который редко отворяют. А раньше вся природа была для него срочным известием.

За Ростовом летали ласточки, — любимые птицы молодого Пухова, а теперь он думал: видел я вас, чертей, если бы иное что летало, а то старые птицы!

Так он и доехал до самого конца.

— Явился? — поднял глаза от служебных бумаг Шариков.

— Вот он! — обозначил себя Пухов и начал разговаривать по существу.

В тот год советский нефтяной промысел собирал к себе старых мастеровых, заблудившихся в темноте далеких родин и на проселках революции.

Каждый день приезжали буровые мастера, картальщики, машинисты и прочий похожий друг на друга народ.

Несмотря на долгий голод, народ был свежий и окрепший, будто насыщенный прочной пищей.

Шариков теперь ведал нефтью — комиссар по вербовке рабочей силы. Вербовал он эту силу разумно и доверчиво. Приходил в канцелярию простой, сильный человек и обращался:

— Десять лет в Сураханах тарталил, теперь опять на свою работу хочу!

— А где ты был в революционное время? — допрашивал Шариков.

— Как где? Здесь делать нечего было!..

— А где ты ряжку налопал? Дизертиром в пицере жил, а баба тебе творог носила.

— Что ты, товарищ! Я — красный партизан — здоровье на воздухе нажил!

Шариков в него всматривался. Тот стоял и смущался.

— Ну, на тебе талон — на вторую буровую, там спросишь Подшивалова, он все знает.

Пухов обсиживался в канцелярии и наблюдал. Его удивляло, отчего так много забот с этой нефтью, раз ее люди сами не делают, а берут из готового прунта.

— Где насос, где черпак — вот и все дело! — рассказывал он Шарикову. — А ты тут целую подоплеку придумал!

— А как же иначе, чудак? Промысел — это, брат, надлежащее мероприятие, — ответил Шариков не своей речью.

«И этот, должно, на курсах обтесался, — подумал Пухов. — Не своим умом живет: скоро все на свете организовать начнет. Беда».

Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель — перекачивать нефть из скважины в нефтехранилище. Для Пухова это было самое милое дело: день и ночь вращается машина — умная, как живая, неустанная и верная, как сердце. Среди работы Пухов выходил иногда из помещения и созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли.

— Вари так и дальше! — сообщал вверх Пухов и слушал тающующую музыку своей напряженной машины.

Квартиры Пухов не имел, а спал на инструментальном ящике в машинном сарае. Шум машины ему совсем не мешал, когда ночью работал сменный машинист. Все равно на душе было тепло — от удобств душевного покоя не приобретешь; хорошие же мысли приходят не в уюте, а от пересечки с людьми и событиями — и так дальше. Поэтому Пухов не нуждался в услугах для своей личности.

— Я — человек облетченного типа! — объяснял он тем, которые хотели его женить и водворить в брачную усадьбу.

А такие были: когда социальная идеология была неразвита и рабочий человек угощал себя выдумкой.

Иногда приезжал на автомобиле Шариков и глядел на вышки, как на корабли. Кто из рабочих чего просил, он сейчас же давал.

— Товарищ Шариков, вышки клок мануфактуры, — баба приехала, оборвалась в деревне!

— На, черт! Если спекульнешь—на волю плуцу! Пролетарнат—честный предмет! — и выписывал бумажку, стараясь так знаменито и фигурно расписаться, чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков—это интеллигентный человек!

Шли недели, пищи давали достаточно, и Пухов от'едался. Жалел он об одном, что немного постарел, нет чего-то печального в душе, что бывало раньше.

Кругом шла, в сущности, хорошая, легкая жизнь, поэтому Пухов ее не замечал и не беспокоился. Кто такой Шариков? — Свой же друг. Чья нефть в земле и скважины?—Наши, мы их сделали. Что такое природа? — Добро для бедных людей. — И так дальше. Больше не было тревоги и удручения от имущества и начальства.

Как-то приехал Шариков и говорил сразу Пухову, как будто всю дорогу думал об этом:

— Пухов, хочешь коммунистом сделаться?

— А что такое коммунист?

— Оволочь ты! Коммунист — это умный, научный человек, а буржуй—исторический дурак!

— Тогда не хочу.

— Почему не хочешь?

— Я—природный дурак!—объявил Пухов, потому что он знал особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления.

— Вот гад! — засмеялся Шариков и поехал начальствовать дальше.

Со дня прибытия в Баку Пухову стало навсегда хорошо. Вставал он рано, осматривал зарю, вышки, слушал гудок парохода и думал кое-о-чем. Иногда он вспоминал свою умершую от преждевременного износа жену и немного грустил, но напрасно.

Однажды он шел из Баку на промысел. Он заночевал у Шарикова. К тому брат из плена вернулся, и было угощение. Ночь только что кончилась. Несмотря на бесконечное пространство в мире было уютно в этот ранний час, и Пухов шатался, валиваясь какой-то пре-

лестью. Гулко и долго гудел дальний нефтеперегонный завод, распуская ночную смену.

Весь свет переживал утро, каждый человек знал про это происшествие, кто явно торжествуя, кто бурча от смутного сновидения.

Нечаянное сочувствие к людям, одиноко рабствовавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция—как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как наречение.

Во второй раз—после молодости—Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неизмеримой в тишине и в действии.

Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно дотапывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза,—нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.

Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей спинке к буровой скважине, легко преодолевая опустевшее счастливое тело.

Пухов сам не знал—не то он таял, не то рождался.

Свет и теплота утра напрягались над миром и постепенно превращались в силу человека.

В машинном сарае Пухова встретил машинист, ожидавший смены. Он слегка подремывал и каждую минуту терял себя в дебрях сна и возвращался оттуда.

Газ двигателя Пухов вобрал в себя, как благоухание, чувствуя свою жизнь во всю глубину—до сокровенного пульса.

— Хорошее утро! — сказал он машинисту.

Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:

— Революционное вполне!

## ГОРОД ГРАДОВ

— Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано.

*Ив. Шаронов, писатель конца XIX века.*

### I

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство,—все эти князья Енгальчевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древле-вотчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась советская власть в губгороде, а в уездах — к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий—ветхопещерник, Петр—женоненавистник и Прохор—византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежачих старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гроба и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые—все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка, — так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилами-чиновниками, а в междуцарствие свое, — пока им должностей не выходило, — занимались чинкой сапог, смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни Градова: слобожане наседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревенских охальников. Поэтому три раза в год — на Троицу, в Николин день и на Крещение — между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если поехать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то в'едешь в город незаметно: все будет поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

— А где же город? — спросит приезжий человек.

— А вот он город и есть! — ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки. На доме том висит вывеска:

Градовский Губисполком.

На краю базарной площади стоят еще несколько домов казенного вечного образца — там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растет вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбывая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что, сколько ни давали денег этой ветхой растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии,—ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть; все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте и как-нибудь скажутся.

— Может, пройдет десять годов,—говорил председатель Градовского губисполкома,—а у нас рожь начнет расти с оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, куда ушли пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы отпустили пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот — не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполко-

мом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки, решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось, чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным,— чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехнические работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может было человека два. Не достояв до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу, длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной — «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта»,



посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того на те же деньги десятником самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

## II

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием — вразить в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет и славился он совестью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов — оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутную станцию и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели мало-мощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не отечественной стране; каждый ел укромкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жались друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел.

За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша пома- хивала мельница ветхими крыламп, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика.

— А мордвин што?

— А мордвин богатый человек,— говорил старик.— мордвин угостил русского по добру и честь-честью. Только русский говорит мордвину; я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову.

— А мордвин ему што?

— А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет — когда его русский к себе в гости позовет. Четыре года томился мордвин, а потом вспом- нил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату...

— К русскому?

— К русскому — то видно по рассказу. Русский схватил шапку с мордвина — то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» — спрашивает его мордвин. «Места тебе не най- ду», — говорит русский. «Почет значит?» «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. «Пей»,—говорит. Мордвин ухватился, думал влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя»,— говорит. «Пей, — говорит русский, — не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважительный,— пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и подчует гостя: «Не обидь,— говорит,— угощайся ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя русский?» — спрашивает мордвина жена. «Хорошо,— говорит мордвин,— спасибо, что вода была, а от водки я бы помер — три ведра выпил»...

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме, и означают пунктир, то-есть косвенное под- чинение, Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез,

взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедывал:

— Религия должна караться по закону!

— Это через почему ж такое по закону-то? — злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

— А вот почему! — говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников. — Я расскажу все последовательно! Потому что религия есть злоупотребление природой! Понял? Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле произошла — очень просто...

— А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист, — робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал, — ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

— Ну да, вырастет! — ответил знающий парень, — все равно — что печка, что солнце...

— И на лежанке можно? — хитрил неизвестный человек.

— Ясно, можно! — подтвердил комсомолец.

— А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист, — хрипло обратился человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню, — правда, что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

— Сурьезное дело! — дал свое заключение о Днепрострое козловский человек. — Только воду в Днепре не удержать!

— Это почему ж такое? — вступился тут Шмаков.

Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за моль тут встряла в разговор?

— А потому, — сказал он, — что вода — дело тяжелое, камень точит и железо скоблит, а советский материал — мягкая вещь!

«Он прав, сволочь! — подумал Шмаков. — У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум о недоброкачественности жизни. Поезд прервал на крутом повороте и скрежетал бесшумными тормозами.

Печальный молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожном поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто и какие-то пешие люди кричали в поезд:

— Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

— Брось газету! — газета им требовалась на цыгарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал — в чужом городе всякий клочок дорог.

— Градов! Кому до Градова? Первая остановка! — сказал проводник и начал выметать сор. — Насорили, идола, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно мое поселение», — подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то, что этот пункт был связан рельсами со всем миром — с Афинами и Аппенинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана, — никто туда не ездил: не было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ, тут жил бестолковый.

### III

Вселился Шмаков в д. № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц, и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы

умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел выработать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков», — написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо», — подумал он, и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч — ставить ему перед своей фамилией «Ив» — Иван, или не надо. Наконец, решил поставить: могут обзнаться и спутать с инородным человеком; хотя фамилия «Шмаков» — достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела — уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал больной цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

Записки государственного человека.

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотович подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«... Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо — это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству — это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть непременно принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства...»

— Гады! — заорал кто-то у окна. — Испотрошу всякую сволочь, всяку баптистскую ересь...

И вдруг голос смилостивился и зазвучал мпосердно:

— Друг, скажи по-матерному, по-церковно-славянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденыш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают — доверие вместо документального порядка, то-есть дают хищничество, ахинею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотовича увлекалась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе пре-

дуика и исправника. Затем он подумал о воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии,— думал Шмаков,— это природа. Всегда в ней что-нибудь случается...»

«А что если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!»

«Не согласятся,— вздохнул Шмаков,— беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал ожидается перед моим истомленным взором, то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства.

Подумать надо над этим — и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и, действительно, задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу — в Губернское Земельное Управление, куда он назначен был заведывать подотделом.

Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные сержали.

Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводительной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах запор смысла и скользкая бесплановая логика, в толчее и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику земуправления.

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела, в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью — за полночь.

Утром хозяйка сжалилась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях, — не говоря про дальние, что в лесистой стороне, — до сей поры весной в новолуние и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! — подумал Иван Федотыч, послушав старуху. — Только живая сила государства — служилый должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении земель потомков некой Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов пощепского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в г. Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки, — читал в деле Шмаков, — по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за кото-



рыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых людей никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Реши это дело, пожалуйста, окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить тройко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предвешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное выработывание социальной истины, а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушку, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги, и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Горе-Горушку считать вольным поселением, по примеру немецкого города Гамбурга, а жителей — транспортными хищниками; земли же надлежит у них из'ять и передать в трудовое пользование».

Далее попало заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские Известия», которое обнадежило девье-дубравцев.

«Пролетарский Илья Пророк.

Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом предполагается испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют посредством наэлектризованного песка».

Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое заключение

«В виду сыпящегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и уведомить просителей».

Остаток трудового дня Шмаков истратил целиком и полностью на заполнение форм учета учетной работы, наслаждаясь графами и терминами государственного точного языка.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим административно-финансовым отделом земельного управления Степаном Ермиловичем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

— Товарищ Бормотов,— обратился Шмаков,— у нас дело стоит: вы почту приказали отправлять два раза в месяц okazиями.

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

— Товарищ Бормотов,— повторил Иван Федотович,— у меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через веделю чохом...

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова с почтительным и усиленным вниманием.

— Отнеси это в Ремесленную Управу,— сказал Бормотов человеку.— Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц.

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

— Соня,— сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам.— Соня! Ты оперплан не переписала еще?

— Переписала, Степан Ермилыч! — ответила Соня.— Это операционный план? Ах, нет, не переписала!

— Ну, вот, ты спроси сначала, а потом отвечай, а то—переписала!

— Вы про операционный спрашиваете, Степан Ермилыч?

— Ну да, не про опереточный! Оперплан и есть оперплан!

— Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

— Вдела и держи там! — ответил Степан Ермилыч.

Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Бормотов прослушал и ответил:

— А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили? — Хорошо! — Прочно? — Прочно! А почта ведь там раз в полгода отиравалась, и не чаще! Что теперь мне скажешь? — Бормотов знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков сразу утих от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит Ремесленная Управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кое-о-чем, но о чем — неизвестно.

В дверях Административно-Финансового Отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один утлый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой — полный благоговения жизни от сытой пищи и внутреннего порядка. Первый, тощий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа в руке какой-то комочек. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

— А почему? Ну, почему песок? — пытал его тощий.

— А потому, что сыплется, — резонно говорил тот, что поспокойнее. — Потому, что мукой пылит: ты дунь!

Тощий дунул — и что-то вышло.

— Ну? — спросил утлый человек.

— Что — ну? — сказал плотный. — Сыплется, — значит, песок!

— А ты плюнь, — догадался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

— Ну? — торжественно возгласил тощий. — Помни теперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не рушить равновесия чувств.

— Глина! Мажется. Дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же сел писать доклад Начальнику Управления — «О необхо-

димости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам Управлении, дабы пресечь неявный саботаж».

Но вскоре саботаж явился перед Шмаковым как узаконенное явление. Во вверенном Шмакову подотделе сидело сорок два человека, а работы было на пятерых; тогда Шмаков, испугавшись, донес рапортом кому следовало, о необходимости сократить штат на тридцать семь единиц.

Но его вызвали сейчас же в местком и там заявили, что это недопустимо — профсоюз не позволит самодурствовать.

— А чего ж они будут делать? — спросил Шмаков, — им дела у нас нет!

— А пускай копаются, — сказал профсоюзник, — дай им старые архивы листовать, тебе-то што?

— А зачем их листовать? — допытывался Шмаков.

— А чтоб для истории материал в систематическом порядке лежал! — пояснил профработник.

— Верно ведь! — согласился Шмаков и успокоился, но все же донес по начальству, чтобы на душе покойнее было.

— Эх ты, жамка! — сказал впоследствии Шмакову его начальник, — профтрепача послушал — ты работай, как гешеус, вот где умные люди!

Раз подходит к Шмакову секретарь управления и угощает его рассыпными папиросами.

— Покушайте, Иван Федотович! Новые: пять копеек сорок штук — градовского производства. Под названием «Красный Инок», — вот на мундштучке значится — инвалиды делают!

Шмаков взял папиросу, хотя почти не курил из экономии, — только дарственным табаком баловался.

Секретарь принял к Шмакову и пошептал вопрос:

— Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит, и то будто не хватает! Ньюжли верно?

— Нет, Гаврил Гаврилович, — успокоил его Шмаков, — должно

быть меньше. Маца непитательна — еврей любит жирную пищу, а мацу он в наказание ест.

— Вот именно, я ж и говорю, Иван Федотович, а они не верят!

— Кто не верит?

— Да никто: ни Степан Ермилович, ни Петр Петрович, ни Алексей Палыч — никто не верит!

#### IV

А, меж тем, сквозозь время настигла Градов печальная мягкая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей: даже на частной квартире, вдали от начальства, они чувствовали себя служащими государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотович с удовольствием установил непрерывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников Земельного Управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке,— эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной природы. За огородами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом неустойчивом мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца — в прямой круг делопроизводства не входили.

Однажды, в темный вечер, когда капала неурочная вода — был уже декабрь — и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка — по три рубля с души — в честь двадцатипятилетия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему «Советизация как начало гармонизации вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «Записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно — потому что он был один — горел вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благороден, — что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

— А все-таки он не спит, — с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч, — значит, долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел первым. Вдова его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотыч сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, его жена стала бы несчастным человеком. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение — радостное, как сладострастие; он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках его письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именинник, а как распорядитель.

— Марфуша! — обратился он к Жамовой, — ты бы половичек в передней постелила! Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница, а не кабак!

— Сейчас, Степан Ермилыч, сейчас постелю! А вы проходите — я вам престольное место приготовила. Выше вас чина ведь не будет?

— Да, не должно быть, Марфа Егоровна, не должно! — и Степан Ермилович сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости.

Пришли четыре деловода, три счетовода, два заведующих личными столами, два бухгалтера, три заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской — старинный приятель Бормотова по земской службе — гражданин Родных. Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах — и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак.

Степан Ермилович Бормотов сидел с сознанием чести. Почти-тительный разговор не выходил из круга служебных тем. Поминались лихие случаи задержки распоряжений губисполкома — и в голосе говорившего чувствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие об исчезновении Градовской губернии. Центр вдруг перестал присылать циркуляры. Тогда Бормотов добровольно поехал дешевым поездом в Москву выяснять положение. Денег ему дали мало — не пришли из Москвы кредиты, а отпустили пышек из инвалидной пекарни и выписали удостоверение о командировке. В Москве Бормотов узнал, что Градов хотят передать в область, и в областной же город передали поэтому все градовские кредиты.

А областной город отказывался от Градова:

— Город не пролетарский, — говорят, — на чорт он нам сдался!

Так и повис Градов без государственного причалу. После своего возвращения Бормотов собрал на своей квартире старожилы и хотел об'явить в Градовской губернии автономную национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев.

— Не республика мне была нужна, — объяснял Бормотов, — я не нацменьшой, — а непрерывное государственное начало и сохранение преемственности в делопроизводстве.

Шмаков тлел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что то, что течет, потечет-потечет и — остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие, не желали, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола не плохи. А звон в государственной глуши несомненно хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поет бесполезные песни.

Незаметно чай кончился, самовар заглох, Марфа осунулась и села в уголок, устав угождать. Тогда за чай заступилась русская горькая.

— Вот, граждане, — сказал счетовод Смачнев, — я откровенно скажу, что одно у меня угощенье — водка!.. Ничто меня не берет — ни музыка, ни пение, ни вера, а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет... Ничего духовного я не признаю, то — буржуазный обман...

Смачнев, несомненно, был пессимист и, в общем и целом, перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

— Граждане! Служил я в разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть секретарей и и двенадцать начальников земуправлений. Одних управделами ГИК'а



при мне сменилось десять человек! А чиновников особых поручений,—как их, личных секретарей председателей,—целых тридцать штук прошло... Я страдалец, друзья, душа моя горька, и ничто ее не растрагует... Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить глубокую дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставляла меня сыскать для такого дела. А третий все автомобили покупал для того, чтобы подходящую систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, установленный существом дела! И более того—Ремесленная Управа, то-есть Губпрофсовет, однажды исключила меня из союза рабземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов. Но, однако, членом союза я остался — иначе и быть не могло! Ремесленной Управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство — без меня ему бы делать нечего было!

Бормотов хлебнул пивца для голоса, оглядел подведомственные собрание и спросил:

— А? Не слышу?

Собрание молчало, истребляя корм.

— Ваня! — обратился Бормотов к человеку, мешавшему пиво с водкой, — Ваня! Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий народ мимо шляется... Так вот, я и говорю, что такое Губком? А я вам скажу: секретарь—это архиерей, а Губком—епархия! Верно ведь? И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание — ко всеобщей — попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будут, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? — Я! Кто контрольную палату — РКИ, скажем, или Казначейство — Губфо наше — на ноги поставил и людей там делом занял? Кто? А кто

всякие карточки, НОТ'ы и прочую антисанитарную истребил в канцеляриях? Ну, кто?..

— Без Бормотова, друзья,— сказал Степан Ермилович со слезами на глазах — не было бы в Градове учреждений и канцелярий, не уцелела бы советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить! Я первый, кто сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи!

— Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведывать охраной материнства и младенчества своих машинисток или опекать лень деловодов!..

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, уставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобрением и питалось колбасой, сдерживая ею стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, в круговую и в общем порядке, оттого и настроение участников пошло вверх не скачками, а прочно, по гармонической кривой, как на диаграмме.

Наконец, встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песнь о диком кургане. Счетоводство — нация артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство — пение, а изредка — скрипку или гитару. Менее благородный инструмент счетоводы не терпели.

За Пеховым, так же молча и без предупреждения, встал бухгалтер Десущий и пропел какой-то отрывок из какой-то оперы, какой — никто не понял. Десущий славился своей корректностью и культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Наконец, приподнялся и постучал вилкой о необходимости молчания заведующий подотделом землеустройства, Рванников.

— Любимые братья в революции! — начал раздобревший от горькой Рванников. — Что привело вас сюда, не щадя ночи? Что собрало вас, не сожалея симпатий? Он — Степан Ермилович Бормо-

тов — слава и административный мозг нашего учреждения, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей губернии!

И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции! Вот действительно человек дореволюционного качества!

— Граждане советские служащие! — проревел в заключение Рванников, — приглашаю вас выпить за двадцатипятилетие Степана Ермиловича Бормотова, истинного зиждителя территории нашей губернии, еще подлежащей быть устроенной такими людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову.

Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал — этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честолюбие.

Тогда не выдержал Шмаков и, встав на стул, произнес животрепещущую речь — длинную цитату из своих «Записок государственного человека»!

— Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

— Разрешаем! — сказала коллективно собрание, — говори, Шмаков! Только режь экономию: кратко и не голословно, а по кровному существу!

— Граждане, — обнагтел Шмаков, — сейчас идет так называемая война с бюрократами. А кто такой Степан Ермилович Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы советскому государству и часа — к этому я дошел долгою мыслью... Кроме того... (Шмаков начал путаться, голова его сразу вся выпотрошилась — куда что девалось?) Кроме того, дорогие соратники...

— Мы не ратники, — прогудел кто-то, — мы рыцари!

— Рыцари умственного поля! — схватил лозунг Шмаков. — Я вам сейчас открою тайну нашего века!

— Ну-ну! — одобрило собрание. — Открой его, чорта!

— А вот сейчас, — обрадовался Шмаков. — Кто мы такие? Мы за-ме-ст-и-те-л-и пролетариев! Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал маргарин: вкусен, а не питателен! Чувствуете, граждане?.. Поэтому-то так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый, бюрократ есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира.

Шмаков сел и достойно выпил пива — среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев... Его заело; он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный — кандидат ВКП; но такое состояние Обрубаева службе не помогало, он был и остался делопроизводителем с окладом в двадцать восемь рублей ежемесячно, по шестому разряду тарифной сетки при соотношении 1 : 8.

— Уважаемые товарищи и сослуживцы! — сказал Обрубаев, доев что-то. — Я не понимаю ни товарища Бормотова, ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо! Налицо определенная директива ЦКК — борьба с бюрократизмом. Налицо — наименования советских учреждений девятилетней давности. А тут говорят, что бюрократ — как его? — зодчий в в. роде кормилец. Тут говорят, что губком — епархия, что Губпрофсовет — Ремесленная Управа и так и далее. Что это такое? Это перегиб палки, — констатирую я. Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго. И вообще в целом я высказываю свое особое мнение по затронутым предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова. Я кончил.

— Закон-с, товарищ Обрубаев! — сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов. — Закон-с! Уничтожьте бюрократизм, — станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона. Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А если я губкому сообщу, товарищ Бормотов или в РКИ? — мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросу «Пушку».

— А где у вас документики, товарищ Обрубаев? — спросил Бормотов. — Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь, Соня, ничего не записывали? — обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особо чтимой в земуправлении.

— Нет, Степан Ермылыч, — я не записывала; вы ничего не сказали мне, а то бы я записала, — ответила хмельная, блаженная Соня.

— Вот-с, товарищ Обрубаев, — мудро и спокойно улыбнулся Бормотов. — Нет документа и нет, стало быть, самого факта! А вы говорите — борьба с бюрократизмом! А был бы протокольчик, вы бы нас укатали в какую-нибудь гелею или рекаю! Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А живые свидетели! — воскликнул зачумленный Обрубаев.

— Свидетели пьяные, товарищ Обрубаев. — Во-первых, а, во-вторых, они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли, и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А, в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы, к тому же мелкобуржуазной. — попытаю я вас? А?! Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет... Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева, займись чистописаньем... Десущий, крякни что-нибудь подушевной.

Десущий сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы золотой. Затем делопроизводитель Мышаев взял балалайку: я, говорит, хоть и кустарь в искусстве, но побрякаю! И он быстро залепетал пальцами, выбивая лихой такт веселящегося тела.

Бормотов прикинулся благодушным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдарился бессмысленно плясать, насилуя свои мученические ноги и веселя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности, и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то соленое.

А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлебы.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлений Градовского губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои непрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника, по прозвищу Чалый.

В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно, а именно:

«Явиться на переучет в терокруг — моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

«В 7 часов перевыборы горсовета — кандидат Махин, выдвинут ячейкой, голосовать единогласно».

«Сходить в ком. отд. — отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня».

«Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора, — штраф, см. постановление ГИК».

«Собрание жильцовартищества о забронировании сарая под нужник».

«Протестовать против Чемберлена, — в случае чего стать, как один, под ружье».

«Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отсутником».

«Именины супруги сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

«Узнать у Марфы Ильиничны, как варить малиновый узвар».

«Справиться в ЗАГС'е, как переменить прозвище Чалый на официальную фамилию Благовещенский, а также имя Фрол на Теодор».

«Переморить клопов и проверить лицевой счет жены».

«Суббота, — открыто заявить столоначальнику, что иду ко всеобщей, в бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы».

«Попросить у сослуживцев лампадного масла. Нигде нет и все вышло. Будто для смазки будильника».

«Отложить 366-ю бутылку для вишневой настойки. Этот год високосный».

«Сушить сухари впрок — весной будет с кем-то война».

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства; осталось 2 дня». — Каждый день был занят.

Не в первый раз и не во второй, а в более многократный, констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается — она заменилась государственной и общепольной деятельностью. Государство стало душой. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

— А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии точный план строительства?

— Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено: по десяти в год будем строить, затем-с двадцать штук мясохладобоев и пятнадцать фабрик валяной обуви... А сверх того водяной канал в земле до Каспийского моря рыть будем, чтобы персидским купцам повадно стало торговать с градовскими госорганами.

— Вон оно как! — дал заключение Шмаков. — Бурс значительный! Ну, а денег сколько же вам потребно на эти солидные мероприятия?

— Денег надо множество, — сообщил Чалый второстепенным тоном: — того не менее, как миллиарда три, сиречь — по триста миллионов в год.

— Ого! — сказал Шмаков, — сумма почтительная! А кто же даст вам эти деньги?

— Главное — план! — ответил Чалый. — А уж по плану деньги дадут...

— Это верно! — согласился Шмаков.  
Вопрос получил надлежащее уточнение.

## VI

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая: все шло в общем порядке и по закону.

Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодушным, как у актера в забвенной игре. Труд его жизни — «Записки государственного человека» — подбивался к концу. Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по республике, над Градовом ночью солнце не светило, зато отсвечивало на чужих звездах.

Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии».

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«...Стоит ли, — читал он середину, — измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва. Не стоит!»

И тому пример: в Градове пять лет тому назад, и двадцать лет обратно, было всего две пишущих машинки (обе системы Ройаль, т.-е. король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы.

Но увеличился ли от этого социальный пророк?—Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится от переусердия, писец его начинает зачинивать; сам зачинивает, а сам на часы смотрит, — глядь, время уже истекло и пора итти в собственный деревянный домик, где его ждала, как никак, пища и уют поряджа, высшим образом обеспеченный государственным строем.

И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все попевало.



А теперь что? — барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение...

Да и то видно, — как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка. А что, если лишнего человека не заводить! Может, и бумаге завестись будет неоткуда?..»

Тут Иван Федотович вздохнул и задумался:

«Не пора ли ему отправиться в глухой скит, чтобы дальше не скорбеть над болящим миром? Но так будет бессовестно.

Хотя оправданием такого поступка может послужить то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует. А если бы и был учрежден и имел устав и удостоверение, то и этим документам верить нельзя, так как они выдаются на основании заявления, а заявление подписывается «подателем сего», а какая может быть вера последнему? Кто удостоверит самого «подателя», прежде чем он подаст заявление о себе?

Почувствовав изжогу в желудке и отчаяние в сердце, Иван Федотыч сходил на кухню попить водицы и посмотреть, кто там пницит все время.

Возвратившись, он снова принялся за чтение, трепеща всеми чувствами.

«...Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть?

Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что значит дело идет. А когда мне заявили, что построенные под моим руководством водоудержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась.

А никакая земля воды не держит, тому доказательство — явление оврагов...»

После этого Шмаков успокоился и уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежаще все факты природы? Того документально нет! Не есть ли сам закон или другое присутственное установление — нарушение

живого тела вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?

Эта преступная мысль, собственно, возбудила Ивана Федотовича.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро. В Градове топились печи, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резак в пекарнях его резали и метрически взвешивали, мудря на граммах: никто из них не верил, что грамм лучше фунта, знали только, что он легче.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.

## УП

Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

— Захарий! Вставай, садись за свой престол!

Престол — круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сиденья, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

— Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет... На собранья я не хожу и ничего не член!

— Ну, будя, будя тебе, Захарий,—говорила ему жена.—Будя бурчать, садись чай пить. Член! Обдумал тоже, — член!

После чая Захар садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

— Иван Федотыч, вашей обуше восьмой год идет, и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, а сапоги все живут... Кустарник лесом стал, революция прошла, может и звезды какие потухли, а сапоги все живут... Это непостижимо!..

Иван Федотыч ему отвечал:

— В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствуёт, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека.

— А по мне, — говорит Захар, — бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!

Иван Федотыч убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью. На свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение, как не мещанство, опороченное Октябрьской революцией?

— Порядок — дело чинное, — говорил Захар. — Да уж даже землю назвали, Иван Федотыч! В порядок ее теперь добром не приведешь, — опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотыча Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого — плетень, а житель — курица.

## УШ

Через три месяца для всего государственного населения Градова настали боевые дни. Центр решил четыре губернии, как раз и Градовскую, слить в одну область.

И заспорили четыре губернских города, кому приличествует быть областным.

Особенно лютовал в этом деле Градов.

Он имел четыре тысячи советских служащих, да безработных имелось 2.837 человек; только область могла поглотить этот пичий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИК'а Скобкин, зампред Губплана Шаших и другие заметные люди Градова встали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршевки из усадьбы гражданина Моева.

Канал тот учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей.

О канале Губилан написал три тома и послал их в центр, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан сугубой мощности, с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром — и никакой иной населенный пункт.

Тов. Сысоев распорядился заказать штампы и вывески с наименованиями Градовского Облисполкома и отдал приказ называть себя впредь предоблисполкома.

Когда никто из служащих не сбивался с области на губернию в отношениях и устных словах, тов. Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказывался на глазах:

— Область у нас, братец! А? Почти республика! А Градов-то — почти столица европейского веса! А что такое губерния? Контрреволюционная царская ячейка и больше ничего!

Началась беспримерная война служащих. Соседние города — претенденты на областной престол — не отставали от градовцев в должном усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотыч Шмаков написал на четырехстах страницах среднего формата проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной области; за соответствующими подписями он был отослан в центр.

Бормотов, Степан Ермилович, подошел к делу исподволь. Он предложил учредить такой облисполком, чтобы он собирался на сессии во всех бывших губгородах и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это, конечно, не согласится, но спросит, кто это изобрел? И когда станет известным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова, Москва улыб-

нется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так раз доказал свою мысль Бормотов товарищу Сысоеву, председателю ГИК'а. Тот подумал и сказал: — Да, это орудие высшего психологического увещания, но теперь нам всякое дерьмо гоже! — и подписал доклад Бормотова для следования его в Москву.

Много дел наделали градовцы, доказывая свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал общей болью в теле, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове — областном центре.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти губгородов. Букв в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии<sup>1</sup>.

Сапожник Захарий Палыч умер, не дождавшись области; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту.

Бормотов же был уволен старшим инспектором Наркомата РКИ за волокиту и чах дома, заведя частную канцелярию по выработке форм деятельности госорганов; в этой канцелярии он служил один и при том без жалованья и без охраны труда.

Наконец, через три года после областной войны, пришло постановление Москвы:

«Организовать Верхне-Донскую земледельческую область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными центрами учредить такие-то пункты. Градовгород, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Слабые Вершины».

Что же случилось потом в Градове? Ничего особенного не вышло, — только дураки в расход пошли. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Прин-

---

<sup>1</sup> Но можно ее и не писать, так как градовцам читать ее некогда, а прочим — не интересно.

ципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Перед смертью он служил в сельсовете уполномоченным по грунтовым дорогам. Бормотов жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался губисполком. Теперь на том доме висит вывеска «Градовский сельсовет».

Но Бормотов не верит глазам своим — тем самым глазам, которые некогда были носителями неуклонного государственного взора.

1926

---

## ЯМСКАЯ СЛОБОДА

### I

Уже пятьдесят лет в слободе находилась Миллионная улица. На ней стоял дом с деревянными ветхими воротами. Ворота были сделаны не из двух половин, а из одного досчатого настила, торцом навешенного на пару крюков. Давно умершее дерево от времени и забвения стало как бы почвой и занялось тихим мхом. Ворота открывались только водовозу—раз в неделю—и то очень бережно, чем руководил сам хозяин. На левом столбовом упоре ворот — три железных заржавленных документа, одинаково древних:

«З. В. Астахов. № 192».

А сверху фамилии нарисованы в виде герба вилы и ведро; это означало, что домохозяин должен тащить на чей-нибудь пожар эти инструменты против огня. Другой документ гласил просто: «Первое Российское Страхование Общества. 1827 г.»,—это указывало, что дом застрахован. А третья железка приглашала покупателей: «Сей дом продается», но ни один человек не заходил по этому делу к З. В. Астахову уже двадцать пятый год; поэтому железо успело померкнуть, а домовладелец забыл, зачем повесил его.

Прадед Захара Васильевича Астахова был царским ямщиком. Тогда правила царица Екатерина Вторая, а степные места стояли пустыми и страшными. В поселенцы сюда шел с севера на все согласный, норовистый, натерпевшийся народ. Люди думали найти здесь вольный хлеб, а встречали нужду, крутой труд и быстро ди-

чали в дальней заброшенности. Но царица таких поселенцев редко трогала, хотя и были среди них люди преступного починна, не мало вчинившие беды своим помещикам на северной родине. Царица рассматривала эту степную пустошь, залегшую меж южным морем и Москвой, как дорогу в теплую страну, которая ей зачем-то была необходима. Поэтому поселенцев она сочла дорожными жителями, нужными для прогона курьеров и чиновников по девственным степям. Редкий степной народ сразу приноровился к такой царской нужде, — развел хороших, худощавых лошадей, учредил кузницы и постоянные дворы, расставил по трактам трактиры — и начал возить всякую казенную службу.

Иные поселенцы, особо бедовые или богомольные, ушли глубже в степь, подальше от гонных трактов, и не стали причастными к казенному заработку. Там такие выходцы занялись глухой жизнью и годами ели свой хлеб, не видя казенного человека. Их-то и обделала впоследствии царица.

А кто пожадней и пояростней на легкую, веселую жизнь, тот остался на новых степных трактах, сел на облучок тарантаса, либо хлопотал в трактире и на постоялом дворе. А самые северные и западные уроженцы — из бесхлебных кустарных мест — устроили при дороге горн и наковальню и стали кузнецами. Иногда по степи неслись большие царские люди, — тем было лестно угодить.

В старинной Ямской слободе, когда она была только придорожным хутором ямщиков, жили трое особых мужиков — предки Астахова, Теслина и Щепетильникова. Они отличались от прочих поселенцев неистовой ревнивой любовью к лошадям, бабьим сладострастием и угодливой завистью к проезжим генералам и чиновникам. Они уже думали о своих конных заводах, только удобного случая разбогатеть не выходило.

Когда им приходилось спешно мчать какого-нибудь посланца из Петербурга, то они выпарывали из лошадей всю мочу: знали, что царский человек не обидит и даст ассигнаций на пару лошадей, когда одна упадет.

Жупцы по этому направлению ездили редко — они больше почи-



тали восточные или западные долгие реки: степную скачку они не уважали, а товары волокли навалом по дешевой воде.

Легкая жизнь шла недолго—года четыре. А потом чиновники сразу перестали густо платить. Если же даст, то такую малость, что на деготь не хватает.

— Мы, говорят, по казенной императорской цене вознаграждаем, а обиду императрице неси.

Ямщики притаили зlobу и молчали. Вскоре же чиновники совсем перестали платить:

— На казенной земле,—говорят,—даром живете,—благодарите царицу, а то враз отсюда вон Потемкин погонит! Возить нас—не труд, а развлечение и отечественная повинность! Поняли!

Ямщики понимали и уходили в темноту восточных степей—заниматься святым хлебопашеством. Так и погас степной ямщицкий промысел.

Но не все ямщики разбрелись, — некоторые так втянулись в степную дорогу, что остались. Влекло их главным интересом то, что они надеялись на какую-нибудь награду от знатных ездоков и не верили, что всегда будет даровая гонка. Кроме того, они налегли на дорожные трактиры и постоянные дворы, где драли заграничные цены, как определил один проезжий.

Когда стало совсем мало степных ямщиков, то с государственными делами на юге России пошла неуправка: нужные чиновники задерживались в степи и не могли приехать в срок. Царице доложили, что степняки—бедный и своевольный народ, лучше пока их расположить чем-нибудь — степной путь велик и никакой злостной суеты на нем быть не должно. Царица определила по куску степи на каждого усердного и особо исполнительного ямщика. А заботу по поименному названию таких ямщиков — для следующего награждения их земель—возложила на ученого академика Бергравена, как сподручное ему дело в его странствии по южно-русской степи. Бергравен как раз в тот срок выезжал из Петербурга с научными изысканиями в русскую равнину и неоднократно должен пересечь ее во всех направлениях. Поэтому все ямщики ему будут налицо.

Бергравен был очень пожилой человек и весь расслабленный. Когда он попал к прадеду Астахова, то лег на полати и пролежал в полной слабости две недели, а ямщику Астахову сказал:

— Ты поезди-ка, дружок, один по степи да посмотри на высоких гладких местах: нет ли на земле завязи или скрепы какой, — в роде пуповины у тебя на животе; найдешь, — тогда мне скажешь.

Сначала Астахов из страха ездил верхом по степи и искал земного гущка. Он даже удивлялся, почему раньше его не заметил. Но потом ездить перестал, а спал в дальней лощине целыми днями. Каждый вечер ученый его спрашивал:

— Ничего не обнаружил, дружок? Он ведь большой должен быть, в роде пня или кургана, — весь в рубцах и расщелинах. А в щелях должна быть плутоническая твердая грязь! Ты не забудь пунктуально рассмотреть, — тогда мне расскажешь!

— Ничего не заметил, ваше сиятельство, — одна ровная степь и ковыль! Где-нибудь пуп должен находиться; я догадываюсь, не в овраге ли он! Без пупа земля расползлась бы — без шва нельзя!

— Ну вот, ну вот! — радовался чему-то ученый человек. — Конечно, земной замок имеется. Только где он, дружок?

— Может, в логу, ваше сиятельство? — покорно доводил до сведения ученого Астахов.

— Ну, чудачок, чудачок, что ты говоришь? Разве у тебя пуповина под мышками сидит? А? Ну, что ты говоришь, — ты подумай сам!

— Разыщу, ваше сиятельство, будьте покойны, отдыхайте! — говорил Астахов и шел на другой день с утра в лощину.

Он уже у стариков спрашивал: где пупок на земном животе? — Никто, оказывается, не видел:

— Может и есть где в сердцевине степи, — ай туда доскачешь?

Астахов не хотел морить коня, — сказал ученому, что уезжает на три дня в высокую дальнюю степь, а сам ускакал к куму-казаку в гости, за сорок верст.

— Что скажешь, дружок? — спросил ученый через три дня. — Доехал до пуповины?

— Нашел, ваше сиятельство! — сказал Астахов, равнодушно вздохнув.—В бугристом месте, посредине степи торцем стоит— весь червивый такой, в кровоточинах и шитый из кусков! А видать, старый такой, обветшалый и из живого тела сотворен!..

Ученый неделю пытал Астахова и исписал на псалтыре целую стопку бумаги. Уезжая, ученый дал бумагу Астахову на сорок десятин земли, какую он сам выберет в степи.

Другие ямщики тоже кое-что урвали от ученого. Но сами ямщики до земли и до труда были не усердны — и роздали ее за малую аренду новым поселенцам-хлебопашцам.

Потом и царица умерла, и тракты пошли скорые, и почта учредилась, а Ямская слобода осталась навсегда. Только от старых времен у слобожан сохранилась земля, которую они попрежнему сдавали крестьянам, да звание ямщика, хотя давно ни у кого не было ни одной легкой лошади.

Слободские люди жили тем, что привозили им мужики за землю, а добавляли к этому подсобный заработок, иногда мастерство и собственную бережливость.

## II

В нынешний июльский день Захар Васильевич Астахов со сподручным парнем Филатом чинил в саду плетень.

Про Филата слободские люди говорили:

Наш Филатка  
Всей слободе заплатка.

А девки лопотали в праздники:

Ах, Латушка, Филат,  
Ни сопат, ни горбат,  
Ничем не виноват,  
Сам девицам рад,  
А и вдовушкам не клад!

Это напрасно—Филат девицам не радовался; он—человек без памяти о своем родстве и жил разным слободским заработком: он

мог чинить ведра и плетни, помогать в кузнице, замещал пастуха, оставался с грудным ребенком, когда какая-нибудь хозяйка уходила на базар, бегал в собор с поручением поставить свечку за болящего человека, караулил огороды, красил крыши суриком и рыл ямы в глухих лопухах, а потом носил туда вручную нечистоты из переполненных отхожих мест.

И еще кое-что мог делать Филат, но одного не мог—жениться. На это ему не раз указывал—летом кузнец, а зимой шорник Макар:

— Што ж ты, Филя, век свой зябнешь: в бабе—полжизни! Не раздражай себя, покуда тебе тридцать лет, потом рад бы, да кровостой жидок будет!

Филат немного гундосил, что люди принимали за признак дурости, но никогда не сердился:

— Да я непосилен, Макар Митрофаныч! Мне абы б самому прокормиться, да сторонкой прожить! Да в слободе и нету такой дурной девки, чтобы по мне пришлась!..

— Вот хреновина какая!—говорил Макар.—Да аль ты дурен? У мужика не облицовка дорога, а сок в теле! Про то все бабы знают, а ты нет!

— Какой во мне сок, Макар Митрофаныч? Меня на мочегон только чего-то часто тянет, а больше ничем не сочусь!

— Дурной ты, Филат!..—скорбно кончал Макар и принимался трудиться.

Филат работал спешно во всяком деле, а в кузнице у Макара Митрофановича с особой бодростью. Макар Митрофанович все больше говорил с мужиками-заказчиками, а Филат один попевал, как чорт в старинной истории: «Дуй-бей—воды—песку—углей!».

Но в нынешний день Филат помогал Захару Васильевичу. Июль удался погожий и знойный: самая пора для хлеба и сена. Сад З. В. Астахова прилегал сзади к самому двору и тоже был окружен садами других домовладельцев. В саду росло всего деревьев сорок—яблони, груши и два клена. Промежду деревьев место заняли лопух, крапива, крыжовник, малина и прелестная мальва, которая ничем не пахла, несмотря на красоту цветов,

— Закуривай, Филат!—закричал Захар Васильевич. — Глянь, сегодня день какой благодородный, как на Троицу!

Филат покорно слез с плетня и подошел к Захару Васильевичу, хотя не курил. Захар Васильевич был глуховат и время от времени спрашивал: — А? — Но Филат ничего не произносил, и Захар Васильевич, поведя на него белыми глазами, успокаивался насчет необходимости ответа.

Захар Васильевич курил, а Филат так просто стоял. Филат никогда не имел надобности говорить с человеком, а только отвечал. Захар же Васильевич постоянно и неизбежно мог думать и беседовать только об одном — о своем цопком сладострастии, но это не трогало сердце Филата. Сейчас тоже Захар Васильевич попытал Филата по такому делу.

Филат прослушал и вспомнил Макара Митрофановича — тот каждое воскресенье читал вечером по складам книги своей семье, а домашние и Филат умильно слушали чужие слова.

— Макарий Митрофанович по-печатному читал,— что в женщине человеку откроется, то на белом свете закроется.

— Да ну, чушь какая! — удивлялся и отвергал Захар Васильевич.

— Я не знаю, Захар Васильевич, в книге по-печатному написано! — не сопротивлялся Филат, но сам тайно верил в справедливость книги.

Поработав на плетнях еще часа два, труженики шли обедать.

В той степной черноземной полосе, где навсегда расположилась Ямская слобода, лето было длинно и прекрасно, но не злило землю до бесплодия, а открывало всю ее благотворность и помогало до зимы вполне разродиться. Душащая сила черноземного плодородия исходила даже в излишних растениях — лопухах и репьях — и способствовала вечерней гложащей мошкаре.

В тот июль было душно — людей тянуло на квас и на легкую жидкую пищу. Хозяйка Захара Васильевича поставила обед на дворе. Стол был накрыт под кучей сирени — в прохладной тени.

Жадный, нетерпеливый Захар Васильевич сейчас же подошел к столу, не ожидая жены, а Филат совестливо остановился вдалеке.

Захар Васильевич, увидя в чашке молоко, подернутое пленкой, подумал, что оно — холодное. Он взял половник и без оглядки, наспех, хватил его целиком внутрь. Вслед за этим первым принятием пищи он харкнул и неожиданно — с большой скоростью — перелез через забор к соседу. Филат смутился, как будто он был виноват, и отошел еще дальше от стола. Вышла хозяйка и спросила:

— А где же Захар-то?

— К соседу чего-то кинулся!

— А кто молочный кулеш расплескал — ты, что ль, хватаешь, не дождешься никак, — ведь он вар!

— Я не брал, — сказал Филат, — это хозяин покушал!

Но хозяин пропал и пришел не так скоро. Он обошел длинную улицу с обеих сторон — и тогда вошел в калитку на свой двор. Филата тяготила немощ от голода, но он терпел. Хозяйка поймала курицу, которая квохтала и хотела сесть насадкой, и окунула ее в кадку с водой, слегка попарывая хворостиной, чтобы курица бросила свою блажь и начал нести яйца.

Тогда вошел Захар Васильевич и, совсем успокоенный, кротко сказал:

— Давайте обедать — все нутро сжег!

Аккуратней и меньше всех ел Филат. Он знал, что всем чужой и ему никто не простит лишней еды, а в будущий раз — откажут в работе.

За обедом Захар Васильевич по глухой привычке иногда спрашивал: — А? — Но евские молча чавкали и разговор не начинался. Когда хозяйка дала говядину, то Филат присмотрелся к своему куску и начал копать его пальцами.

— Чего ты? — спросил Захар Васильевич.

— Волосья чьи-то запутались! — ответил Филат, стеснявшийся своей брезгливости.

— Пищей грёбуешь? — сказал хозяин. — А ты глотай ее — луцкай она потом в шузе разбирается!

Здесь Захар Васильевич добродушно поглядел на жену: дескать — ничего, дело терпится!

Хозяйка разглядела волос на мясе Филата и раздраженно заявила:

— Да ты небось сам его приволок своими погаными руками — у меня таких длинных и нету!

Захар Васильевич сейчас ел мягкую кашу, но спешил, как зверь, стараясь захватить побольше.

— Хо-хо-хо! Да что ты, Филат, одного волоса испугался — у твоей присухи сколько их будет! Весь век во щак ловить будешь!..

Филат стеснительно улыбался и давно проглотил волос, чтобы не обжгать хозяев.

— Захарушка, правда нынче каша хорошо упарилась? — нарочно ласково спросила жена, чтобы муж забыл поскорее про нечистоплотный волос.

Хозяин тогда медленно начал жевать кашу, чтобы взять ее достоинство, и дал среднюю оценку:

— Каша — терпимая!

Тут отворилась калитка и вошел пожилой человек — с кнутом в руках, но без лошади.

Захар Васильевич, не ослабляя своей работы над обедом, дал человеку подойти к столу и потом спросил:

— Ты чего, Понтий?

Человек помолчал, снял зимнюю шапку, на кого-то перекрестился и степенно сказал:

— Ну, здравствуйте! Приятного вам аппетита! — и замолчал; а Филат ожидал, смотря на его приготовления, что он сейчас расскажет бог знает что.

— Здравствуй! — приветствовал гостя хозяин и, рыгнув, положил ложку. — Будя, натрескался! Ты насчет ямы, Понтий! Теперча не нужно: Филат, намедни, горстями по лопухам все расплескал! Хо-хо, Филат жуток на расправу!

Человек с кнутом еще постоял и ушел не сразу.

— Так, стало быть, теперча не нужно?

— Нет, Понтий, Филат живьем все унес! — ответил хозяин.

— Ну, а когда дело будет неминуемое — нас не забывайте. Захар Васильевич!

— Ну, еще бы, Понтий! Только бочку полной наливвай и черпак возьми не худой, а что тебе Макар заново справил!

— Да уж чего там, Захар Васильевич! Возкой не обижу! Прощайте пока!

— С богом, Понтий! По улицам добро не проливай — вонь от тебя с малолетства помню!

Но Понтий не услышал последнего напутствия: его кнут раздражал собак — и дворовый Волчок моментально начал лаять, как только Понтий отошел от стола.

Это был Пантелеймон Гаврилович — хозяин слободского ассенизационного обоза, самый богатый и самый скромный человек во всей слободе. Для простоты и из уважения к нему люди его звали Понтием. Работал Понтий с семи лет на одном и том же деле. ел с рабочими один хлеб и много лет не спал ночей, подремывая лишь на передке дрог с бочкой, когда обоз выезжал из слободы в глухой дальний лог.

— Вот тебе бы золотарем стать — хлебное дело! — говорил после обеда Захар Васильевич Филату и задумывался — как будто и сам не прочь стать им. Но Филат и раньше думал про это занятие, только выходило, что ему нужно сто рублей на лошадь и дроги с бочкой. Если бы рубашки и штаны не носились — тогда через пятнадцать лет у Филата очутились бы эти сто рублей, а иначе — не будет денег.

Макар два вечера в прошлом году при лампе считал и говорил Филату:

— Нет, брат, капитал нужен велик; если бы ты харчи не натурой получал, а деньгами... то и тогда, скажем, тебе полтора года следует не есть, либо пять лет голодать — выбирай сам! Вот тебе и будет лошадь при дрогах!

До позднего вечера, пока комары силу не взяли, Захар Васильевич с Филатом кончали задний плетень. Пахло навозом и кисло-



той давно обжитой почвы, но и этот воздух казался благоуханием после духоты низких жилищ — и в Захаре Васильевиче он разжигал аппетит на ужин.

Ужинали они под той же сиренью. Чуткий вечер во всеуслышание разносил голоса соседей и отпирал все тайные запахи дворов. Захар Васильевич пил парное молоко и наслаждался мирной жизнью и грядущим сном. А Филат обошелся без молока — поел только хлеба с огурцами и слушал голос соседа Теслина, что заклинал доску под живопись на завтра. Это случалось каждый вечер — все знали и уже не слушали, но хозяйка Захара Васильевича сказала:

— Вон Василь Прохорыч опять забубнил! Ты где ляжешь — со мной или в сенцах?..

Захар Васильевич ответил, что в сенцах — от жары чего-то мочи нет.

Теслин писал церковные иконы, но, веря в бога, он не верил в животворящую силу своего таланта. Поэтому готовую доску — для божественного изображения — он не сразу пускал под кисть, а сначала троекратно прикладывал к животу своей жены и троекратно же произносил нараспев:

Пропáхни жизнью,  
Пропáхни дровом,  
Пропáхни девой...

Делал это Теслин почему-то обязательно в погожий вечер, а в ненастье копил доски до освящения их на жене, но кистью ранее того не малевал. Ни одной иконы никто из соседей никогда не видел: через знакомого в монастырской ризнице Теслин сбывал их в дальние села и в северные скиты. Это и хорошо, потому что слободские богомольцы не стали бы молиться на такие святотатственные иконы — с живота бабы.

После ужина все жители обязательно выходили на улицу и садились на лавочки у домов — посидеть. Вышел и Филат с хозяином и хозяйкой. У хозяйки рос живот, и Захар Васильевич ждал к ноябрю мальчишку: говорил, что дом поручить после смерти некому и что фамилию Астаховых учредила Екатерина Великая — проез

дом по этим местам Захар Васильевич два года боялся, что ему от царя достанется, если потомства не будет,— пока жена не почала: тогда утихнул совестью и повеселел на дому. Филат не знал — не то это правда, не то Захар Васильевич зазнавался от своего положения,— но ничего не спрашивал.

На лавочке уже сидел какой-то молодой, но толстый мальчик. Его знали немного: Володька, сын железнодорожного жандарма с другого конца улицы.

— Подвинься-ка, барчук,— сказал Захар Васильевич.

Тот не подвинулся, а встал, оскорбил и ушел:

— Налопались, уроды, да вышли!

Тогда все трое сели, и Захар Васильевич громко заикал, но ничуть не беспокоился об этом, а заговорил с женой о ягодах на варенье:

— Ты, Насть, вишню теперь волоком волоки, иначе не уцепишь—цена на ее пойдет! Она долго не держится!

— Я бы малинки хотела маленько прикупить — маловато сварили, на зиму не хватит—ты пить здоров, тебе только подавай!

— С малиной время терпит — ты смородину не упусти!

— Знаю, знаю, заказала одному мужику — в пятницу привезет...

— Ты молоко-то отнесла в погреб? Скисло!..

— Не скиснет,— сейчас пойдем ложиться — отнесу!

— Завтра керосину купи полфунта — опять клопы в койке!..

Филат сидел и дышал — у него ничего не готовилось впрок — и он мог свободно умереть, если работа переможется недели на две. Но он никогда не помнил об этом, а прожил нечаянно почти тридцать лет.

У Теслиных тоже сидели — только на завалинке: у них не было скамейки.

Завечерело совсем — и не было видно лица у старушки, которая только что вышла из дома Теслиных. Напротив дома Теслиных также сидели люди и что-то бормотали в темноте. Старушка от Теслиных ласково сказала туда:

— Никитишна, здравствуй!

С лавочки напротив раздался певучий ответ из шербоного рта:

— Здравствуй, здравствуй, Пелагей Иванна!

И обе старушки смолкли, потому что все было заранее переговорено: сорок лет знакомы, тридцать лет соседями живут.

Сверчки напевали свою вечернюю песню, отчего на улице становилось уютней, а на душе покойней. Вдалеке иногда шумели поезда железной дороги, но ни в ком не вызывали ни чувств, ни воспоминаний, потому что никто не ездил по железной дороге. Ежегодное путешествие, совершаемое половиной людей из слободы, было пешим: сопровождение крестного хода из ближнего Иоакимовского монастыря до раки преподобного Вараввы — восемьдесят верст по степному тракту. Еще бывали путешествия на подводах — в ближние деревни на престольные праздники, где гости об'едались грубой громадной пищей и иногда кончались.

В садах слободы что-то тихо брюзжало и наводило жуть. Ночные сады — страшное видение, и никто из жителей слободы там летом не спал, несмотря на свежесть воздуха. Днем деревья стояли зелеными и кроткими, а ночью ужасали трепетом своих фантастических кущ.

— На покой пора! — об'явил Захар Васильевич и поднялся, чтобы закончить сегодняшний день.

Филат лег на дворе у сарая — на куче травы, которую он заготовил впрок на все ночи у Захара Васильевича.

Ни одна слободская усадьба уже не жила наяву — все почивали или, шепча молитвы, укладывались.

Филат до тех пор смутрел на непонятные звезды, пока не подумал, что они ближе не подойдут и ему ничем не помогут, — тогда он покорно заснул до нового лучшего дня.

### III

Там, где Ямская слобода кончалась порожним местом, на которое валили без спроса всякую житейскую чужь, стояла старая хата

вольного мастерового Игната Княгина, по-уличному — Сват. Хата имела одну комнату и одного жильца.

— Женись! — пристывала многосемейная слобода к каждому холостому человеку — и к Свату. — Не торчи перстом!

— Я-те женюсь! — отсекал подстрекателю Сват. — Я сам человек со значением — не что мне бабье потомство!

Сват был пришедший человек, а не здешний. Поэтому ему досталась нежилая хата на слободской свалке, где до него жили женатые нищие; но Сват их живо выселил, и побирušки рассеялись неизвестно куда, а в слободе сразу извелось нищенство.

Такой энергией Сват сразу привлек к себе добродетельных домовладельцев из слободы и те больше не боялись ставить молоко в сенцах. А раньше, бывало, нищие ходили и самовольно выпивали это молоко, поставленное к обеду, и еще многое под'едали, не для них приготовленное. Понятно — это нехороший порядок, и хозяйева развели собак на каждом дворе, но собаки постепенно привыкли к нищим и не лаiali на них.

Тогда явился Сват и лишил главных нищих жилого призора, отчего они, не ожидая зимы, выехали в дальнейшие южные города.

Слободская свалка, составлявшая как бы усадьбу дома Свата, была знаменитым местом. Сам дом Свата был тоже когда-то свалочным жильем — без оконных рам, без печки и без потолка: одни стены и редкая железная крыша. Дом некогда принадлежал неизвестному бобылю, теперь давно умершему. Слободской староста определил пену этому беспризорному недвижимому имуществу в восемь рублей сорок три копейки, но в казну поступают имения лишь дороже десяти рублей — так дом и остался ничьим, а впоследствии им овладели нищие. Сват хотя и изгнал нищих, но угажал их за одно, что они привели дом в жилой и гожий вид.

— Да это делалось не от ума, а от зимней вьюги! — объяснял он себе домовитость нищих.

Однако выселенные люди ушли не сразу, а месяца два громили по ночам окна камнями и поджигали деревянную дверь. Но Сват одиноко выдерживал осаду, а на заре, когда нищие уставали от

штурма и засыпали на близлежащих кучах мусора, Сват делал вылазку. Он не мстил обездоленным, а только заставлял их исправлять ошибки неразумного поведения.

— Ключник! — подходил Сват к которому-нибудь сонному нищему: он из всех изучил поименно. — Расшивай рублевку — ты оконную раму повредил!

Ключник сразу догадывался, в чем дело, и поэтому никак не мог проснуться. Баба его давно проснулась и хлопала глазами от ужаса, а муж ее лежал и притворялся, изредка бормоча не относящиеся к делу слова. Сват стоял и терпеливо предлагал Ключнику уплатить рубль. А нищий то откроет глаза, то закроет — и ничего будто не понимает. Тогда Сват брал где-нибудь строительный кирпич и швырял им молча в голову нищего, но так ловко, что кирпич только обжигал воздухом ухо, а в голову не попадал.

— Расшивай рубль, сатана! — грозно гремел огромный Сват.

Жена нищего, визжа и приговаривая, вскакивала и расшивала из захолустий юбки рубль. Сват, получив причитающееся, отставал и уходил разыскивать в кучах следующего должника.

Наверно, Сват был раньше метким солдатом или фокусником на деревенских ярмарках, что так ловко и безвредно мог бить в опасные места.

Отучив нищих, Сват занялся беспримерным делом: отысканием в свалочных кучах драгоценных вещей. Только чужому приبلудному человеку могло притти в голову такое соображение. Ямская слобода жила так бережливо, что стаканы оставались целыми от деда и завещались будущим людям. Детей же били исключительно за порчу имущества, и при том били зверски, трепеща от умопомрачительной злобы, что с порчей вещей погибает собственная жизнь. Так на потомственном накоплении — только и держалась слобода. Но Сват не знал, что в слободе люди живут не заработком, а жадностью, и надеялся сыскать на свалке кое-что общепольное, чтобы сбывать и кормиться.

Прокопавшись с неделю, Сват догадался, что ему надо или бежать отсюда или умирать с голоду — в отбросах скупости не попа-

далось драгоценных потерь. Все-таки Сват надеялся хоть на что-нибудь и рыл руками кучи, изучая в точности каждый предмет. Но кости были обглоданы так чисто, словно обожженные, и так тонки, точно принадлежали курице, поэтому их не брали сборщики жостей и тряпок: несомненно, что и эти кости пред'являлись сборщикам и пошли на свалку только после неоднократных отказов их.

Тряпичная ветошь дымилась на пальцах и явно не годилась больше ни в какую отделку. Неведомый прах сыпался в горстях Свата, тоже ничем его не привлекая.

В ветреные дни все это забвенное дерьмо пылило и осаждалось где-нибудь по ту сторону хозяйственной жизни человека. Но Сват не успокоился: он выпросил у одной вдовы огромное прямоугольное сито — принадлежность веялки — и начал сквозь него просыпать все кучи по очереди. Оставшиеся сверх сита предметы он, не изучая, относил в домашний угол, а по вечерам рассматривал добычу. Первый вечер не принес ему никакого утешения: в добыче значились куски твердого заоснелого кала, изжившие себя мочалки, четверть подошвы от валенка, какая-то жестяная зазубринка в два зуба, махор с чепца или камилавки, два камушка, веточка с сухими ягодами — «бесево», крошево бутылочного стекла, окамелок веника, птичье гнездо и многое иное, но равно дешевое.

Сват в задумчивости сидел до полуночи, а к заре окончательно поник от беспросветной нужды.

— Буду шапки делать — скоро осень! — сказал он себе утром. — Может, что выйдет! В слободе шапок не готовят, а в городе они дороги, а я по дешевке их буду шить из старых валенок, абы голову человеку грело!

Днем Сват ходил в город — продал сапоги и зипун, — а под вечерний благовест уже был в слободе. За плечами у него держался мешок, в руках палка от собак, а в кармане четыре рубля и два гривенника.

— Валушки ношенные, старые, чиненые — здесь покупа-аю! — кричал Сват чужим голосом и озирался на окна и калитки.

Часа два ходил Сват с одной и той же песней — и все зря:

ничего не купил. Только раз высунулась из ворот баба в нижней юбке и с намыленными руками:

— А расколотые утюги не берешь?

— Нет! — сказал Сват.

— А чего ж ты берешь?

— Валенки!

— Так кто ж тебе их продаст, на зиму-то глядя! У-у, бестолковый пранч! Ты б утюги брал, аль вьюшки печные чинил!..

— Того же надо мне! — говорил Сват. — Иди, стирай подштанники, а меня не учи: я сам ученый, сученый, крученый, моченый, печеный, драченый.. Валупки ношеные, старые, чиненые — здесь покупа-аю!

Баба пучила на проходимца одервенелые, напуганные глаза, а потом в сердцах хлопала калиткой.

«Хлеб только собрали — какая же зима? — думал Сват. — До чего ж тут народ заботлив — вперед времени идет!»

Филат с Захаром Васильевичем в это время закончили плетень. Но чтобы работнику вышел полный день и оправдать его ужин, Захар Васильевич нашел дело:

— Филат, прочеши плетень, чтобы он не пушился, а потом к Макару сбегашь за ведром — он ушко приделал!

Филат пошел вдоль плетня, чтобы вправить внутрь торчащие хворостины, а лишние лишние из'ять шрочь. Плетень от такой шравки получался ровный и плавный, а каждый свиток прутьев лежал уместно. После такого дела Филат надел валенки, чтобы не бередить израненных плетнем ног, и тронулся к Макару.

Сват к этому часу купил пару валеных опорок и шел знатной походкой. К такой походке его располагало плотное, стройное тело и выправка прежней, неизвестной жизни. От радости первой удачи Сват неутомонно орал свой призыв к продаже валенок.

Филат шел навстречу ему враскарячку — он никогда не служил в солдатах и не видел в жизни ничего строгого, точного и мощного.

— Скидай валенки, Филат! — сразу предложил Сват и стал в уме определять цену.

— Для чего, Игнат Порфирыч? У меня ноги в садинах, а от худобы желваки пошли!

— Что ж ты худой такой? — серьезно спросил Сват и положил наземь мешок. — Некормленный, что ль, живешь, или сам больной?

— Да я, Игнат Порфирыч, к вечеру слабую, а по утрам встать не могу...

— Говядину-то часто ешь? сны по ночам видишь? — снова спросил Сват и с мрачной задумчивостью оглядел всего Филата.

— Снов я не вижу, Игнат Порфирыч, мне думать не о чем, а говядину хозяева сами едят — ее не укупишь, говорят, — а мне овощ шорцней дают!

— Ишь, сволочь какая! — не со злобой, а с горем проговорил Сват. — От овоща в человеке упора нет!.. А там, черти, дураки, кровь проливают...

— Где? — спросил Филат, и глаза его засочились от чужого участия.

— Где — не на бабьей бороде: на войне! Стыхал ты что-нибудь про войну, иль тут анчутки живут?

— Слыхал, Игнат Порфирыч! У меня в теле недомерок есть — бумагу на руки дали, так и хожу с ней — боюсь захватить куда-нибудь. А по нашей слободе мужиков мало забрали: кто на железную дорогу учетником стал, а кто — белобилетник.

— Знаю, тут ямщики живут — екатерининские помещики! Им что: мужик к зиме всего доставит!

— Это правильно, Игнат Порфирыч, осенью обозами прут!

— Ну, ладно, чорт с ними! — закончил беседу Сват и после молчания кратко определил население Ямской слободы:

— Глисты в мужицких кишках — вот кто твои хозяева!

Филат не сообразил, но согласился: он не считал себя умным человеком.

— Ты кроток, но глуп не особенно! — успокаивал Филата Сват.



— Да мне что, Игнат Порфирыч, весь век одними руками работаю — голова всегда на отдыхе, вот она и завяла! — сознался Филат.

— Ничего, Филат, пушай голова отдохнет, когда-нибудь и она здумается! — говорил Сват и шумно выдыхал воздух, скорбя всею грудью. — Ты у кого работаешь-то сейчас?

— Да у Захара Васильевича нынче плетни кончили в саду, а вавтра пойду по дворам напрашиваться!

— Ты вот что — приходи ко мне шапки шить, а там видно будет!

— Аль ты умеешь? — усомнился чего-то Филат.

— Можем. А ты поймешь?

— И я справлюсь! — пободрил Филат и пошел, наконец, к Макару за ведром. А Сват тронулся дальше опрашивать слободу насчет валенок.

Два человека сидели на земляном полу в хате Свата и ладили из стволочек валенок зимние шапки. Работали они уже целую неделю, а сделали всего четыре шапки. На обед им шли хлеб, огурцы и капуста, но они были довольны; только от скуки, дикого ландшафта свалочной пустоши и какой-то тесной темноты в сердце Свату иногда казалось, что солнце навсегда померкло — и он проверял его взором в окно, а солнце заходило за облачко, освобождалось — и вновь светило.

— Перетерпело, сволочь! — говорил о солнце Сват. — Вот, подлюка, над всякой жизнью светит — ничего не ценит: хуже скота!

Вечерами они не отдыхали — Сват спешил в Успенской ярмарке, чтобы хоть немного выручить денег и облагородить себя и Филата в одежде.

Когда становилось по-ночному темно, Сват кончал первым и говорил:

— Будя, Филат, — ноги свело, в душе морщины пошли! Достань из мешка хлебца — пожужим и аминь!

В слободе шел густой сон, даже пар над домами поднимался,

но это часто и тихо дышала земля, выгоняя дневные человеческие яды.

Сват любил перед сном постоять на крыльце и поглядеть ночной мир. Он видел, как внутри огромного туловища земли уходило ее гремящее бушующее сердце и там во тьме продолжало трепетать до утреннего освобождения. Свату нравилось это ежедневное событие, а ничего удивительного не было.

Спали они жутко — от усталости и общей тяжести жизни.

#### IV

Подружился Филат со Сватом теплее кровного родства и думал навек остаться у него шапочным сподручным, если Сват преждевременно не прогонит.

Зато без Филата на слободѣ многие дела пришли в запустение: поздно обнаружилось, что Филат был единственным и необходимым мастером, способным пользоваться всякое дворовое хозяйство. Другого такого кроткого, способного и дешевого человека не было.

Иные хозяйки приходили к Филату на свалку и случали в окошко.

— Филатушка, ты бы зашел: крыша мочится, в самоваре решетка провалилась!

По доброте сердца Филат никому не мог отказать.

— Как управлюсь — зайду, Митревна! В воскресенье жди обязательно!

Сват обижался на сговорчивость Филата:

— Чего ты этих юбошниц приучаешь? Мало они тебя порцией овощи кормили? Дурной идол!

Раз зашел Захар Васильевич, оглядел шапочное занятие и попросил:

— Зайди, Филат, жена двоих снесла — не знаю, куда деваться! — и ушел, не услышав по глухоте ответа Филата.

— К этому сходи! — сам сказал Сват. — Человеку действительно трудно!

В воскресенье Филат явился к Захару Васильевичу. Бледная, мертвевшая хозяйка лежала на деревянной кровати, на которой от клопов в обыкновенное время не спали. Филату стало жалко хозяйку, и он молча глядел в ее тонкое, благородное лицо.

— Ты что, Филат? — мучительным шопотом спросила хозяйка. — Пришел?..

— Пришел, Настасья Семеновна... Может, вам помочь нужно...

— Ах, мне ничего не надо, Филат. Спроси у Захара!

Филат почувствовал стеснительную неловкость от своего бесполезного участия и ушел из горницы. Ему было чего-то жалко и сожестно, как будто он повинен в мучении Настасьи Семеновны. Тело его ломило от нервной боли, и он горел от непонятного тягостного стыда, какой случался с ним в ранней молодости. Он никогда не искал женщины, но полюбил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее. Но такого не случилось ни разу — и Филат волновался и трепетал сейчас от чужой брачной тайны.

Захар Васильевич ходил добрым и негромко указывал:

— Филат, наноси воды на ночь!.. Курам не забудь пашенца дать к вечеру!

Филат и сам следил за всем в такой день. В неутомонной суете ему всегда жилось легче: что-то свое, сердечное и трудное, в работе забывалось. Про это и Сват однажды сказал:

— Работа для нашего брата — милосердие! Дело не в харчах — они надобны, но человека не покрывают! В работе, брат, душа засыпает и печально утешается!

И Филат нынче с яростью мел двор, сделав все остальное, о чем мог догадаться. Захар Васильевич выходил редко — все сидел в горнице около жены. Это тоже почему-то радовало Филата: «Сиди, брат, — думал он, пыля метлой, — я уж тут сам управлюсь, я один, а вы — двое: не обижай жену!».

До полночи бродил по двору Филат, следя за тишиной и поряд-

ком, но все давно замерло, только одна наседка вхохтала на яйцах в сарае.

Что-то тревожило Филата и настораживало на бдительность, но из дома ничего не слышалось,—наверно, Настасья Семеновна уснула и восстанавливала свои силы, истекшие с родовыми кровями.

Утомившись, Филат постелил под дворовой сиренью свой старый пиджачок и склонился ко сну, но спал так чутко, что слышал над головой ход и дрожание ночи. Где-то на слободских пустырях неугомонно брехала собака, ей издалека и одиноко отвечала другая — и лай их жалобно и безответно тонул в густоте тьмы. Филат слышал лай сквозь толщину померкшего медленного сознания, но звук был такой тонкий и грустный, будто шел из неизвестного потерянного мира,—это успокаивало Филата, и он не просыпался. Сиреневая ветка шевелилась над самыми глазами Филата, но ночь лежала плотно и не трогала спертый воздух: ветка колебалась сама — от древесной жизни и внутреннего беспокойства.

Проснулся Филат на ранней крепкой заре — через сени было слышно, как в горнице судорожно плакал ребенок Настасьи Семеновны, в первый раз от рождения. Филат поднялся на ноги и пошел по двору, прислушиваясь к странному, жалобному кригу.

Скоро ребенок плакать перестал — Настасья Семеновна чем-то материнским убоготворила его,— и наружу вышел Захар Васильевич с равнодушным, измученным лицом.

— Филат! — сказал он. — Ставь самовар — теплая вода нужна, а позже на базар сходишь и в аптеку!

Филат с особой цопкой ловкостью начал щеплять лучинки, радуясь своей полезной работе для Настасьи Семеновны и цветущему будущему дню.

Слободские жители тоже поднялись и бродили по дворам в поисках разных житейских вещей. Они еще зевали, чесали глаза и жмурились от настигавшего их расцветающего солнца. В этот ранний прозрачный час у каждого человека в груди томится восторг, но позже — часам к десяти — у радости вышибается дух домашним остервенением и злобой всяких забот.

На третий день Захар Васильевич назначил крестины, но с полудня отказал Филату в работе, так как пришли две кумы, которые одни смогут управиться в хозяйстве.

Филат взял пиджак, подвязал веревочкой подошву к валенку и пошел на свалку к Свату. Настасья Семеновна сидела в горнице и тюлюлюкала своих двоешек, а около окон с улицы стояли озабоченные бабы и шептались о таком событии.

Для Свата и Филата зима бы прошла плохо, если бы они не были так дружны. А для слободы она тянулась долго и худо: война звала мужчин, а жены вдовели и тосковали. Но пропадало народу не так много: вблизи слободы уже лет десять строилась и чинилась какая-то железная дорога — и там укрывались люди от военной службы.

Захар Васильевич тоже поступил кровельщиком на железную дорогу и с утра уходил на работу, набирая в мешок харчей. Труд, видимо, томил его и он жил с осунувшимся, оскорбленным лицом.

— Игнат Порфирыч, а почему вы не на войне? Вон малый у Гладких — такая худоба и то забрали! — спросил однажды днем Филат у Свата.

— Э, куда ты вдарил, браток! — хитро засмеялся Сват. — Я человек на исходе: у меня контузия в голову — помаленьку с ума схожу!

Филат открыл рот и сказал:

— А-а! А с виду вы человек умный, Игнат Порфирыч!

— То-то я и шапки с тобой из ветошек леплю — вошь на чужой башке утепляем! А был бы дурак — я бы в окопах под царем и отечеством лежал.

Филат опять открыл рот, но не сообразил, что дальше спросить. Вечером, укладываясь спать, Сват сам сказал с попонки:

— Я, Филат, ушел с войны по своему желанию! Дюже там скорбно и своя жизнь делается ни к чему! Только ты никому зря не сказывай!

— Да мне что, Игнат Порфирыч! — испуганно и поспешно

ответил Филат.— Ай мне нужно? Только вы сами напрасно кому не скажите, что мне открылись! А то мне первому достанется!

— Что ж я сам на себя буду, что ль, шаговаривать, курья твоя башка? — зычно обиделся Сват и разжег потухшую цыгарку.

И весь разговор забылся.

## У

Рано смеркались срединные дни зимы, бесшумно и забыто лежал снег на равнине. Ямская слобода жила — не дышала, а Сват и Филат с прежней неукротимостью шили шапки, хотя чувствовали, что скоро шапкам конец, и чем тогда заниматься — неизвестно.

— Пойдемте, Игнат Порфирыч, в ночные сторожа — в колотушечники! Милое дело — ночью караулить, а днем отдыхать! Только, пока Прохор с Савелием не помрут, нас не возьмут — они давно живут в колотушечниках и их слободской староста любит.

— Нет, Филат! — заявил Сват. — Я в твои колотушечники не пойду. Лучше я буду днем в пустую бочку суковатой палкой задаром колотить, а в сторожа не пойду! Я еще свежий мужик, что ты меня в старики слаешь? Мы еще обождем!

Шапочная работа еще кое-как шла и сбыт был. Обыкновенно покупали шапки дальние мужики, но дело уже клонилось к весне и шапки можно было брать только в солгу, впрок, до будущего года. Несмотря на усердие в работе и экономную лицу, Сват и Филат ничего не заработали в запас, так что после шапок хоть дворы иди громить.

Заходит раз к шапочникам незнакомый мужик и спрашивает с порога:

— А картузы вы делать можете?

— Можем! — ответил Сват, чтобы завлечь человека.

— И козырек с глянцем сумеете соорудить?

— Можем и глянцу достать, если сто картузов себе купишь у нас! — сообщил Сват.

Мужик ехидно засмеялся и сел на лавку, опытно поглядев на

шапочных мастеров. Он снял картуз, на котором был козырек без глянца, и сведущим голосом упрекнул:

— Черти — чудачки! Да разве глянцевого лаку теперь достанешь где — он из Германии раньше вагонами шел! Кого вы учите-то, вошебойщики? Я сам весь век картузник! А теперь, будя дурака гладить, я и под картузом знаю, что находится!..

Загадочный мужик так чего-то разобиделся, что не мог смиренно сидеть и начал рассматривать самый материал, из которого Сват и Филат делали свои незавидные шапки.

— Да разве это матерьял? Это — злодейство! Чем вы мысль-то, чем вы голову-то человека защищаете? Ведь это же валенок — он же пот копит и когти прячет, а вы самую голову задумали им украшать! Черти-холуйщики!

Сват живо раскусил гостя:

— Слушай, друг, а ты не с фронта, — в голову не контужен? Мужик немного смирился:

— Оттуда... Газом в ум шибануло! Отпущен околевать домой. Все равно я без глянца работать не могу — туманный козырек ореола голове человека не дает! Как же можно?

— Мы сейчас есть собирались! — сказал Сват. — Садись, солдат, покушать!

— Давай, если угощаешь! — согласился гость. — Только достань мне молочка — хлеб макать; я тюрю такую дома едал, и страсть соскучился по ней...

— Достанем и молочка тебе! — добрым толосом угощал Сват. — Чего-чего, а молочко есть! От станции-то пешком домой прешь?

— Конечно, пешком! — без обиды и тихо сказал гость. — У солдата откуда деньги? А даром кто меня повезет?

Прошел день, ночь и новый день уже постарел, а гость обжился и позабыл уйти, хотя башмаков не снимал. Он присел к Филату и умело кроил валеный материал. Сват не препятствовал хорошему человеку, только окорачивал его в еде. Действительно, гость кушал очень лихо и терял рассудок от аппетита, так что Филату мало доставалось.

— Уйма жвала, едок! — говорил Сват гостю.— Тут не ты один кормишься! Ишь, всю кашу в один мах пробузовал!

Гость немного укрощал себя, а потом снова забывался и потел от напряжения скул.

— Ты, должно быть, в работе горазд, раз есть так можешь?— спросил Сват.

— Ну, еще бы! — подтвердил гость.— Весь на мускуле стою — по семь дней на фронте черепа, не спавши, крушил! Меру картох с товарищем в присест с'едал!

— А на шитье-то ты усидчив? — любопытствовал Сват.

— Это для меня пустота! — заявил гость.— Это я могу неотлучно неделями сидеть, лишь бы хлеб рядом лежал!..

В слободе кротко звонили к вечерне, а три друга утомлялись за работой. Чтобы перебивать усталость, Сват время от времени пытал гостя:

— Ну, а что ж ты у нас обосновался? Аль у тебя родных нет?

Гость спохватывался и сообщал:

— Была жена да теща: жена ребенка заспала и сама удушилась на полотенце, а теща теперь на паперти с рукой стоит! Вот я теперь и тоскую сам с собой: сын бы нужен мне, да жены сразу не сыщешь.

— Зачем тебе сын? — удивлялся Сват.— Ты сам хлеба не ешь — мученика хочешь родить?

— Ну, а то как же? — ничего не понимал гость.— Мне теперь не жить и никому не цвесть — то война, то забота,— нет ничего задушевного. А сын малолетства не запомнит, а вырастет — тогда будет хорошо...

Сват сомневался:

— То никому не известно! Может, тогда еще больше гувечья будет.

— Нельзя, я тебе говорю! — злобно заспорил гость и встал с пола.— Немыслимое дело! Я только молчу, а у меня с горя сердце кровью мокнет! Я весь заржавел от скорби — не знаю, куда мне деться! Ты думаешь — я с радости у тебя на пол сел за твои



шапки, дырявая голова!.. Я на фронте был — там народ поголовно погибает, а ты говоришь, что сын мой еще больше увечиться будет! Да разве я дам его какой сволочи? Разве я пущу его на такое мученье, хамское ты отродье, дурак заштопанный? Да я горло гнилыми зубами по швам распушу за такое дело — любому сукину сыну — в полмомента!..

Сват сидел и улыбался, довольный, что задел гостя за живое нутро. А гость подышал немного, собрал разбежавшиеся от возбуждения слова и снова принялся бить:

— Бабы убудки, недоноски чортовы! Выдумали царя, веру, запечатали сверху отечеством и бьют народ, чтоб верность такой выдумки доказать! Явится еще кто-нибудь — расчешет в культияпой голове иную выдумку и почнет дальше народ замертво класть! А это все, чтоб одной правде все поверили! Да будь вы прокляты, триедные стервы!

Гость плюнул жидкими слюнями и треснул по плевку австрийским опорком.

Сват тянул дым из цыгарки и весь светлел от удовольствия:

— Верно, друг, правильно! Живи у нас теперь задаром — я не знал, что ты такой!

Филат тоже радовался новому человеку и заговорил от себя:

— У кого есть родня дома, тот скучает на войне... А жена с сыном жальчей всех ему...

Загостивший солдат обратил внимание на Филата и, заметя его слова, стегнул свою новую мысль:

— Царь и богатые люди не знают, что сплошного народу на свете пегу, а живут кучками сыновья, матери, жены — и один дороже другому. И так цощко кровями все ухвачены, что расцепить — хуже, чем убить... А сверху глядеть — один ровный народ, и никто никому не дорог! Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Чем потом отплачивать будут?

Гость говорил и жадно шевелил пальцами, как будто лепил руками теплые семьи и сплавивал родственников густой нераздельной кровью. Под конец он успокоился и тихо сообщил:

— Дюже много люди умственно соображают — это всем бедам беда...

— Да что ты, друг! — чуть ухмыльнулся Сват. — А я думал, ум нам в нужде помощник!

Гость подумал дальше:

— Когда помощник, то хорошо, а то его на жадность тянет — вот где горе! Человек бросится, а поперек дороги сердечное чувство лежит, его и потопчут! А после вернутся и плачут...

— Оставайся! — окончательно сказал Сват. — Проживем и втроем — не об'ешь!

Гость сейчас же стал разуваться и протяжно вздохнул, как дома. В первый раз он оглядел все жилище и нашел его удобным, потому что почувствовал такую усталость, которую не выспать за многие ночи подряд.

— Ишь! — сказал Сват ночью, когда гость спал. — Благородные люди думают, что мы рожаемся да жрем, а он вон живет и мучается, и в голове у него бурчит...

Филат дремал и думал о госте, что тяжко ему было сына и жену хоронить, — хорошо — у него нет никого, — и, не осилив себя, заснул.

Ночи понемногу кратчали, а нужда шапочников длиннела — товар перестали брать. Снег начал оттапливаться солнцем и желтел от протгупавшего прошлогоднего навоза. Иногда дни сверкали лучше летних — белизна замороженного снега в упор сопротивлялась солнечному огню — и чистый воздух остро мерцал от колкого холода и тягучего тепла.

Слобода жила зажмурившись — война подсушила благополучие ямщиков и люди не хотели в такое время замечать роскошь новой весны.

Захар Васильевич тщательно работал на железной дороге и боялся одного — снятия с учета и отправки на фронт. Два мальчика его росли, но отец любил их грубо, ничем не баловал и не ласкал.

А Настасья Семеновна обмирала о детях и так боялась за своих первенцев, что постоянно мучила их лекарствами, трепеща от ужаса от детского поноса.

Макар шорничал и любовно готовился к летнему кузнечному ремеслу, заранее вкушая прелесть открытых летних дней. Прочие люди также жили толково, каждый надеясь на что-нибудь лучшее и легкое.

Сват радовался увеличению света и тепла на дворе, но немногo кручинился и завидовал мертвым неподвижным вещам: им незнакома была забота о еде и благополучии, они жили в каком-то покое и полном отдании себя.

— Летом с голоду и нарочно не умрешь! — говорил гость Миша, узнав про заботу Свата. — Можно голубей бить, рыбки сходим наловим, зелени с'едобной надергаем — вот и суп, и уха, а на второе блюдо — гуща!

Однако Сват загодя отправил Филата на его прежний заработок — в слободу.

— Хоть и жалко тебя, кроткий человек, и сдружились мы с тобой, но сам видишь — втроем невтерпез, а Мише некуда деваться!

Второй день мастера уже ничего не делали, а нынче Миша сходил за хлебом на последний пятак, и то не мог донести хлеб в целости до дома — весь по дороге исковырял и выел мябушко.

— Ну-к, что ж! — сказал Филат. — Пойду по дворам шаведываться — где-нибудь останусь! А к вам, Игнат Порфирыч, в другой раз буду шобасакать приходить!..

## VI

Весна негромко проступала сонной мокрой землей на всяких вздутях почвы. Филат шел и радовался, что у него есть знакомый — Игнат Порфирыч, и дом на свалках, куда можно всегда пойти.

Устроился он у Макара — доделывать четыре хомута и караулить кузницу, а сам Макар по железной дороге наменял

угля для горна. Многие люди в слободе говорили, что нельзя достать необходимых вещей, но ни Сват, ни Филат, ни Миша ни разу не имели нужды в таком предмете, который бы пропал из продажи. Поэтому только в слободе Филат понял, что такое война и ее сосущая, обездоливающая сила.

Слобода от сырости и отсутствия ремонта вся побурела и скорбно глядела запавшими окнами, как человек впроголодь. Собаки поухдели и ночью молчали. И все шло в какую-то прорву; даже Филату жалко стало, и он готов был работать за самую плохую еду. Но Макар оставил ему пищи достаточно, потому что зимой занимался нужным ремеслом, работал на мужиков и в пище себе не отказывал.

Макар не возвращался долго, и Филат скучал без дела—хомуты он давно пошил. Каждый день он ходил в Свату и Мише—тем совсем было худо, и они существовали только тем, что Филат приносил из своих остатков.

А Филат приносил не остатки, а почти все, что ему полагалось есть у Макара, а себе оставлял одну хлебную горбушку и четыре картошки.

— Да ты сам-то сыт?—спрашивал Сват.—Гляди, с'есть нам неумдро, а ты ослабнешь!

— Не ослабну!—стеснялся Филат.—Работы сейчас нету, а на одно дыханье много есть не надо.

Сват обижался:

— Сообразил—дыханье! Ты погляди на Мишу! Он тоже одним дыханьем занимается, а может сейчас любого зверя с'есть!

— Могу!—лежа подтвердил Миша и вздохнул от аппетита.

Однажды Филат испуганно проснулся. В закоулке жузницы, где он спал, было так темно, что Филат чувствовал себя безопасно. Ночь за бревенчатой стеной укрыла слободу тихой чернотой и спрятала ее из мира до утра. Ничто внятно не тревожилось. Сонные ямщики, должно быть, не раз меняли отлежанные бока. Захар Васильевич говорил Филату, при починке плетня, что Настасья Семеновна как повернется ночью, так он летит на пол.

— Да Настя моя еще не так толста; а у кого баба толстая, — вот кому горячка! — рассуждал и смеялся Захар Васильевич.

Но сейчас—совсем тихо; на улице нельзя услышать, как падают на пол мужья от ворочающихся, разопревших жен.

Вдруг Филат вздрогнул и приподнялся, а потом услышал—раз за разом—резкую, скорую стрельбу и смутный шум далекого страха.

Забывший сам себя, Филат никогда не видел окрестностей за околицей слободы, только помнил свою детскую деревню, где рос с матерью. Филату от работы некогда было опомниться и подумать головой о постороннем, — и так постепенно и нечаянно он отвык от размышления; а потом,—когда захотел,—уже нечем было: голова от бездействия ослабла навсегда.

Поэтому Филат сейчас задрожал и испугался от непонимания стрельбы. Про войну он знал, но вообразить ее не мог ни по каким рассказам Миши.

Стрельба утихла, зато явственно кричали люди. Филат догадался, что это на вокзале, и вышел наружу.

Небо взвиздыло, и Филат внимательно оглядел его. В таком внимании к ночному небу жила старая мечта Филата—заметить звезду в то время, когда она отрывается с места и летит. Падающие звезды с детства волновали его, но он ни разу, за всю жизнь, не мог увидеть звезду, когда она трогается с неба.

Утром приехал Макар—без угля и задумчивый:

— Царя давно нету,—на железной дороге дезертиры бунтуют... А мы сидим,—ничего не знаем: народ шпалы со станции тащит, паровозы, говорят, артелям будут раздавать...

Филату эта весть была такой чужедальней, что он не очумел от нее, как Макар, а только молчал от небольшого любопытства. Он смутно чувствовал, что плетни, ведра, хомуты и другие вещи навсегда останутся в слободе и какой-нибудь человек их будет чинить.

К вечеру, как управился, Филат пошел к Свату, но встретил его с Мишей по дороге. Миша-гость шел весело и нес целый хлеб, а Сват глядел сам не свой от скрытого душевного движения.

— Уходим, Филат!—печально сказал Сват. — Теперь прощай, раз слободе мы не надобны.

— Да—ишь, сукины дети! — угрожал Миша. — Хамье чортово: завзяли землю, живут на покое, а ты никому не нужен—ходи, блуждай!

Проводил их Филат до вокзала и попрощался:

— Может, придете когда, Игнат Порфирыч, слободу проведать?

Филат глядел на отбывающих с покорным горем и не знал, чем помочь себе в тоске расставания.

Сват тоже растрогался и смутился. У конца пути он обнял Филата и поцеловал его колючими усами в шершавые засохшие губы, которые целовала только мать, когда они были младенческими. Филат испугался поцелуя и жалобно сморщился от нечаянных, непривычных слез.

— Но, обмокла баба, а то мужшком бы была!—уныло сказал Миша и потянул Свата: — Ну, чего ты расстраиваешь человека,— он других людей найдет! Просто он блаженной такой!

Филат не сразу пошел к Макару, а дал круг и в тоске добрел до свалки. Хата Игната Порфирыча стояла теперь порожняя и смиренная, но Филату казалось, что и стены и окна скучали по ушедшим—и скорбели от одиночества. Живой, милой и дорогой осталась опустелая хата, пропахшая людьми, бросившими ее. Филат постоял, потрогал дверь за ручку, — ее каждый день брал Сват; поглядел в поле—его видел Игнат Порфирыч; прилег на пол—здесь спали они всю мрачную зиму, — и отвернулся от душного отчаяния, которое нельзя было заместить никаким утешением.

Ежедневно ходил Филат к своей хате на свалке и издали смотрел на нее привязанными нежными глазами. Он безрассудно ждал, что дверь отворится, выйдет Игнат Порфирыч с цыгаркой и скажет:

— Заходи, Филат, чего ж ты на ветру стоишь! Я всегда тебе рад, кроткий человек.

По ночам на станции иногда стреляли, иногда нет. А слобода запасалась продовольствием, срочно стягивая все недоимки с мужи-

ков за прошлогодний урожай. Захар Васильевич лично ездил в деревню к своему арендатору и наказывал:

— Время, Прохор, смутное, а ты мне пшена, должен сорок пудов, — вези, пока дорога завокла, а то скоро распустит, тогда до самой Фоминой недели не просохнет!

— Да я уж не знаю, Захар Васильевич, как и быть? — сомневался Прохор, не теряя учтивости в словах. — Говорят, будто земля теперь даром мужику отойдет и с недоимками дело терпится!

Захар Васильевич моргал от сердечного остервенения и слушал клевет своей разгневанной крови. Но говорил спокойно, чтобы осмеять мужика.

— Новая власть не дурей старой, Прохор! Ты не думай, — там дураков сменили, а помещиков поставили — теперь еще крепче земля в их руках зажмется! Оно и верно: ты свой надел тоже даром соседу не откажешь! Революция — это одна свобода, а собственность тут не при чем, — как была, так и останется!

— Надел дело малое! — отвечал и раздумывал Прохор. — Не о нем теперча речь. А один солдат меня страшил, чтоб никак не сметь аренду платить, а то новая власть провалится и война вся с начала пойдет...

— Война не перестанет! — заявлял Захар Васильевич. — Война до конца германца будет идти! А о земле новых прав нету, Прохор, ты и думать забудь! А с пшеном не копайся, а то на будущей год на хутора землю отдам, — там народ походней...

— Да это дело ваше, Захар Васильевич! А с пшеном не задержу; как телегу на ход поставлю, так и буду в слободе... Зря болтают люди, а мы подхватываем, а кто же его знает, — как будет, никому не известно! Завтра на станцию пешком схожу — солдат поспрошаю!

— Вали, Прохор, поспрошай, ноги у тебя не казенные, и башка своя, — никому не жалко! — сердился под конец Захар Васильевич и прощался.

Ямщики в слободе загудели. Староста через день созывал сходы и направлял недовольство в законное русло:

— С фронта дезертирии окаинной прет видимо-невидимо: врага отечества свободно пускают внутрь православной земли! Что же теперь делать, православные, когда и мужик даже обнаглел и чужую землю самовольно хочет от владельцев отнять! Таких уставов, по моему, в законе нету. Но, чтоб усечь нахальное самоуправство, нам нынче же надоть всем чином послать бумагу в губернию, чтобы там знали, что делается, и всем под той бумагой полностью и понятно расписаться!..

Филат жил без охоты и усердия—без Игната Порфирыча у него не было никакого интереса. У Макара от смутного времени притихла всякая работа, и он скоро отказал Филату: сам, говорит, видишь—делать нечего, а вдвоем сидеть неважно,—ступай по дворам!

## VII

Посреди слободы стоял двухэтажный старый дом. Около него колодезь, а у колодца круглый сарай—темница для лошади. В той темнице целый день лошадь кружилась на узком месте, таская деревянное водило. На водиле закручивались и раскручивались веревки, которые таскали бадьями воду из колодца. Вода сливалась в большой чан, а из чана напускалась в корыта. Из корыта крестьяне, приезжавшие в слободу на базар, поили лошадей по копейке с головы, а люди пили бесплатно.

В двухэтажном доме жил владелец колодца Спиридон Матвеич Сухоруков с женой Марфой Алексеевной и двумя детьми—мальками.

Филата Макара на прощанье сытно покормил, поэтому Филат зашел на колодезь воды испить. Но вода из чана не текла, а у двери темного сарая стоял Спиридон Матвеич и злобно глядел на прохожего.

— Колодца не копал, а пить хочешь, бродяжий сын! Подойди-ка сюда!

Филат подошел.

— Куда идешь?—спросил Спиридон Матвеич.

— Вышел работенки поспросить!—ответил Филат.

Спиридон Матвеич отошел сердцем:



— Бродите вы тут, материны дети, только землю зря ногами корябаете! Иди, я тебя к коню поставлю,—мой холуй на деревню бунтовать ушел!

Филат очутился в темном сарае, где, зажмурившись, стояла худая лошадь.

— Чмокай на нее, чтобы она ходила! — сказал Спиридон Матвееч.—А сам наружу поглядывай: даром народ не пой,—бери по копейке с воза, а с иного две!

Лошадь побрела по кругу, от натуги наливая кровью тощие жилы. Изредка она замирала и становилась; тогда Филат на нее чмокал—и лошадь дергала водило.

Шли темные часы, и Филата мучила тесная и безответная тоска. Он выходил наружу, слушал, как хлопают и опрокидываются в чан полные бадьи, и осматривал пустоту глухой улицы. Видно было просторное поле, где светилась весна, но и там ни один человек не шел. Филат грустно вспоминал Игната Порфирыча, но участь лошади, таскающей воду из колодца, была еще беспросветней—и Филату делалось от этого легче.

По ночам Филата клали в чулане, через стенку со спальней хозяев. Отвыкший спать в помещениях, Филат мучился от духоты и пугался потолка — ему казалось, что потолок снижается, как только он закрывает глаза.

Постепенно—навстречу лету—входила трава и наряжалась в свои цветы молодости. Сады вдруг застеснялись и наскоро укрылись листвою. Почва запахла тревожным возбуждением, будто хотела родить особенную вечную жизнь, и луна сияла, как огонь на могиле любимых мертвецов, как фонарь над всеми дорогами, на которых встречаются и расстаются люди.

Филат с жалостью гонял свою лошадь и задумывался в темном сарае. Лошадь к нему привыкла и ходила без понуканий, поэтому Филат целые дни сидел самостоятельно — без всякого дела, лишь иногда принимая копейки от мужиков-водопойщиков. В ленивом или бездельном человеке всегда вырастают скорби и мысли, как сорная трава по бросовой, непаханной почве. Так случилось и с Филатом;

но голова его, заросшая покойным салом бездействия, воображала и вспоминала смутно, огромно и страшно,—как первое движение гор, заледеневших в кристаллы от давления и довшественного забвения. Так что, когда шевелилась у Филата мысль, он слышал ее гул в своем сердце.

Иногда Филату казалось, что если бы он мог хорошо и гладко думать, как другие люди, то ему было бы легче одолеть сердечный гнет от неясного, тоскующего зова. Этот зов звучал и вечерами превращался в явственный голос, говоривший малопонятные, глухие слова. Но мозг не думал, а скрежетал—источник ясного сознания в нем был забит навсегда и не поддавался напору смутного чувства. Тогда Филат шел к лошади и помогал ей тащить водило, упирая сзади. Сделав кругов десять, он чувствовал качающую тошноту и пил холодную воду. Воду он любил пить помногу, она почему-то хорошо действовала на душевный покой—свежесть и чистота. Душу же свою Филат ощущал, как бугорок в горле, и иногда гладил горло, когда было жутко от одиночества и от памяти по Игнате Порфирыче.

В сарай часто забегал Васька — восьмилетний сын Спиридона Матвейча, охальный и умный мальчик. Филат его ласкал по голове и что-нибудь рассказывал. Васька тоже рассказывал, но особенное:

— Филат, мамка опять на горшок садится, а отец ругается...

— Ну, пускай, Вась, садится,—она, может, больная и ветра на дворе боится!—об'яснял Филат.

— Нет, Филат, она нарочно делает, чтоб отцу не продохнуть: она такая блажная—правда!

Филат начинал про другое—про Свата и Мишу-солдата. Но мальчик, послушав, опять вспоминал:

— Мать вчера чулунок со щами пролила, а отец ей как дернул рогачом по пузу... А мать кричит, что у ней краски тронулись: правда! Отец говорит: «Крась крышу, шлюха»,—а мать не полезла на чердак, а легла на койку и плачет! Она всегда у нас притворяется!..

Филат мучился от слов мальчика и думал про себя: «Вот нас

теперь трое—лошадь, я и мать мальчика. Тоскливое горе раскололось на три части—и на каждого пришло меньше».

Однажды Васька прибежал рано утром и закричал:

— Филат! Иди погляди—мамка в сенцах опять села, а отец на дворе кулеш поел, нам ничего не оставил!

Филат успокаивал мальчика, но самому было нехорошо.

После обеда Филат пошел в дом—ему нужно было взять денег у Спиридона Матвейча на новую веревку для бадьи.

Из сеней он услышал дикий издевленный крик Васьки и шепчущий голос его матери, которая хотела наверно убаюкать ребенка и не могла.

— Дай свечку, зараза! — кричал Васька грозные слова, как большой. — Кому я говорю?! Дашь или нет—долго мне дожидаться? А то сейчас самовар на пол свалю, подлая тварь!

Мать ему быстро и испуганно шептала:

— Вась, шу, не шудо, Вась! Я сейчас найду тебе свечку—ты же сам ее вчера всю съел... Я пойду за хлебом—куплю тебе новую...

— А я тебе говорю—ты спрятала свечку, прожлятая сатана,— хрипел Васька и шевелил что-то гремящее, должно быть самовар.

— Ну, Вась, у меня же нету свечки—я куплю тебе ее...

— А я говорю—дай сейчас же! А то—вот тебе...

За этим загремела медь, и полилась шипящая вода: Васька сволок на пол самовар.

— Я же тебе говорил, чтоб дала, а ты все не давала! — уже спокойно объяснил Васька происшествие.

Филат осторожно открыл дверь и вошел в кухню, чувствуя свое бьющееся сердце и срам на щеках.

На табуретке сидела молодая женщина и плакала, прижав к глазам конец кофты.

Васька сердито глядел на живой кипяток и не сразу заметил Филата, а когда увидел, то сказал матери:

— Ага! Ты что наделала? Я вот отцу скажу—самовар поудили, а ты его на пол! Пусть только отец придет—он тебе покажет.

Женщина молча плакала, Филат испугался больше сына и ма-

тери и забыл, зачем он пришел. Женщина торопливо взглянула на него одичалыми черными глазами и вновь спрятала их под веки. Она была худа и очень красива—смуглая, измученная, с лицом, на котором глаза, рот, нос и уши хранились, точно украшения. Неизвестно, как это все уцелело после родов, детей, мужа и такой губительной судьбы.

Другой мальчик, поменьше Васьки, сидел в углу и неслышно плакал вместе с матерью. Филат заметил, что он больше похож на мать—черный, с мягким, настороженным лицом, будто постоянно ожидающим удара.

Спиридона Матвенча, очевидно, дома не было—и Филат без слов ушел.

В большие праздники Филат ходил либо к Макару, либо так просто в поле. Макар говорил, что революция, как дождь, стороной где-то прошла, а Ямской слободы не тронула, и больше что-то ничего не видать и не слышать: не то все кончилось, не то ливнем льет над другими местами.

— Да нам все равно! — беседовал Макар. — На всех богатства не достанет, а вот хлеба скоро не будет, тогда все само укроется!

— А на станции народ все едет?—спрашивал Филат.

— Едет, Филат! Дуром прет — вся война в хаты бежит! Да что ж, не без конца воевать,—народ наболелся, теперь его не трожь!

Филат подолгу засиживался у Макара и все интересовался, пока тот не начинал зевать и указывать:

— Ты бы шел, Филат,—нам с тобой сегодня отдых полагается, а то меня чего-то на немощ тянет!

Филат уходил и замолкал до будущего праздничного дня.

Зеленый свет лета уже смеркался и переходил в синий—свет зрелости и плодородного торжества. Филат наблюдал и думал о том, что скоро начнут снижаться такие высокие полдни, а лето постареет и станет коричневым, а потом желтым и золотым—таков цвет седой природы. Тогда слобода опять сожмется в домах и в четыре часа дня будет заpiraть свои ставни и зажигать керосиновый свет.

Слобода считала дни до уборки урожая и гадала — привезут аренду мужики или нет. Спиридон Матвейч был злой человек, изверг для домашней жены, но имел проникательный ум, когда беседовал с соседями у колодца.

Ямщики приходили к нему даже нарочно — спросить, что он думает о своей земле.

— Теперь земли у меня нет! — отвечал Спиридон Матвейч. — Мужики от'емом взяти—в расплату за войну...

— Да ведь прав-то новых еще не вышло, Спиридон Матвейч! — убеждал себя и собеседника ямщик. — Они хамством взяли, а не по закону!

Спиридон Матвейч мрачно осматривал голову говорившего, на которой остался лишь ободок волос. Он всегда наливался тяжелым гневом против глупости человека.

— Ты волос, должно быть, не от ума терял, а от греха, Ириной Фролыч! Хамство прячется тогда, когда сила царства его пугает, а теперь какое к чорту у нас царство? Паровозы и то хотели по деревням растащить, а то земля: земля—первая вещь!

— Значит, ямщикам смерть приходит? — смиренно спрашивал Ириной Фролыч.

Спиридон Матвейч делался серьезным до печали.

— Умирать еще погодим, Ириной. Я думаю, расправа будет наша, а не ихняя.

— А аренду-то ждять в нынешнем году, аль в будущем?

— Совсем не жди! — говорил Спиридон Матвейч. — И думать забудь,—ни с какой арендой мужик теперь не явится, сам чем-нибудь промышляй!

Филат слушал и начинал понимать простоту революции—от'ем земли. В ямщиках он давно заметил злую скрытую обиду и большой тревожный страх. Но страх в них день ото дня рос, а злоба таяла и превращалась в смиренное огорчение, потому что в мужиках происходило наоборот: обида выросла в злую волю, а воля вела войну с помещиками—пожаром и разгромом.

Ямщики думали, что и слободе не сдобровать, но потом поняли, что они—мелкие землевладельцы, а у мужиков и без них много хлопот.

Филат стал сосредоточенней глядеть по сторонам, хотя ничего легкого для себя не ждал. Он знал, что ворота для него нигде сами не откроются и зимой опять придется лютовать—еще хуже прошлогоднего: тогда хоть Игнат Порфирыч был. Но втайне Филат чувствовал какую-то влекущую мысль: он надеялся, что если выйдет из слободы, то с голоду не пропадет, а раньше бы пропал. Постоянный скрытый страх за жизнь, с годами превратившийся в кротость, рассасывался внутри сам по себе, и сердце все больше разогревалось волнующими первыми желаниями. Чего он желал—Филат не знал. Иногда ему хотелось очутиться среди множества людей и заговорить о всем мире, как он одиноко догадывался о нем. Иногда—выйти на дорогу и навсегда забыть Ямскую слободу, тридцать лет дремучей жизни и то невыразимое сердечное тяготение, которое владеет, наверное, всеми людьми и увлекает их в темноту судьбы.

Филат не мог, как все много работавшие люди, думать сразу—ни с того, ни с сего,—он сначала что-нибудь чувствовал, а потом его чувство забиралось в голову, громя и изменяя ее нежное устройство. И на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль, что она рождалась чудовищем и ее нельзя было гладко выговорить. Голова все еще не отвечала на смутное чувство, от этого Филат терял равновесие жизни.

В дом Игната Порфирыча Филат ходил редко: там вновь поселились нищие и беженцы, которые даже свалочную площадь сумели загадить. Но тоска по утрате друга у Филата теперь заросла грустным воспоминанием, почти не мучительным. Дом же привлекал не одной памятью о прошлом, но и звал уйти за теми, кто ушел из него. Этот дом как-то обнадеживал и радовал Филата и облегчал его время в слободе, будто то были последние дни, которые можно прожить как попало.

Осень вступила по мягким, осыпавшимся листьям и долго хранила землю сухой, а небо ясным. Очищенные от хлеба поля казались прохладной пустотой и над ними реяли невидимые волосы паутины. Небо сияло голубым дном, как чаша, выпитая жадными устами. И шли те трогательные и потрясающие события, на которых существует мир, никогда не повторяясь и всегда поражая. Ежедневно человек из глубины и низов земли заново открывал белый свет над головой и питался кровью удивительных надежд.

Филат любил осень—в противоположность страху рассудка перед зимой. Ему казалось, что небо выше, воздуха больше и дышится легче. И в этом году он созерцал знакомую и новую осень, чуть прислушиваясь к заботам ямщиков. А ямщики не столько заботились, сколько слушали, что делается на свете, и передавали друг другу. Они еще верили, что революция—дурацкая сказка, и не боялись ее.

Сначала говорили, что земля обратно отходит к ямщикам—вышел новый крепкий закон,—и германца начали бить снова. Потом это забылось и мир где-то бушевал молча, не доходя до слободы своим голосом.

Ямщики целой толпой ходили на станцию и спрашивали у стрелочника—не пора ли разбирать пути и все вокзальное имущество делить по народу. Стрелочник сказал, что пока надо погодить, но того не миновать,—когда выйдет срок, он прибежит на слободу и скажет. Ямщики взяли из штабеля по шпале на двоих и пришли домой, немного обрадовав жен таким приобретением. Ямщики особенно бывали довольны, когда удавалось что-нибудь получить задаром, хотя бы даровые предметы и не приходились к хозяйству. Покупать же ничего не любили—им всегда казалось, что цена дорога. Это вышло истари и уложилось в характере.

Ведь вся годовая пища привозилась ямщику бесплатно мужиком, как аренда за землю, а дома были собственные; зато одежда служила причиной горя и семейных разладов, потому что она по необходимости—хотя и изредка—покупалась за деньги.

Старушки в одно воскресенье собрались после обедни на паперти храма и тронулись за околицу. Они заранее запаслись мешочками с постной пищей, уговорились с батюшкой и вышли шествием на Иоакимовский монастырь. Филат ходил на край слободы—получать с одного ямщика долг за козьяшна, но не получил—ямщик был одинокий вдовец и ушел в монахи, отказав усадьбу теще. Филат увидел толпу бредущих старух и испугался их, как своей беды. Старухи шли с шопотом, распутив жидкие, мертвые волосы. Их ноги скорбели в густом песке и они поднимали юбки, чтобы не пылить, показывая худую остроту холодных ног. Священник шел впереди и отвлекал лицо от спутниц: он был еще не стар, но жизнь его залупала. Старухи спустились в слободской лог и скрылись за кустарником. Филат поглядел на следы самодельных мягких туфель и вспомнил почему-то про гробы на чердаках, которые очень старые ямщики всегда готовили себе впрок и бережно хранили. Зато женщины, несмотря на старость, никогда преждевременно гробов не заказывали и погибали в старых подвенечных платьях.

Ямщики-солдаты, которые остались живы, все вернулись домой и по-разному рассказывали о революции: кто объяснял, что это—евреи восстали и громят все народы, чтобы остаться одним на земле и целиком завладеть ею, а кто говорил, что просто босота режет богачей и надо бросить слободу и бежать грабить имения и города, пока там осталось кое-что.

Пожилые ямщики увещевали людей молиться и ссылались на библию, где нынешнее время до точности предсказано,—надо только молиться с таким усердием, пока кровь не пойдет вместо пота,—тогда человек обратится в дух.

— А ты попробуй—помолись до крови!—говорил такому проповеднику Спиридон Матвейч, хитро подразумевая что-то про себя.— А мы поглядим, лучше ли станет твоему духу, когда жизнь пропадет!

— И попробую, и облегчусь!—исступленно отвечал пожилой ямщик.— А ты посмотри себе в сердце,—ай тебе любя нынешняя жизнь: ни сыт, ни голоден, народ поедом ест друг дружку, царя



испоганили, самого бога колышут... Ты погляди—ведь над тобой твердь дрожит!..

Спиридон Матвейч смотрел на твердь:

— Твердь ничего не дрожит: ты думаешь, есть когда богу такой суетой заниматься? Ишь ты важный какой,—бог только и следит за тобой!

— Я—не важный собой, да душа во мне есть—господнее имущество!—серчал и волновался старик.

— Не показывай тогда этого имущества никому—придет мужик или босяк и отымет: ты знаешь нынешнее время?

Спиридон Матвейч уже бедствовал с семьей,—это видел Филат. Но он был самый умный в слободе и без раздражения терпел, раз не было спасения. До войны он держал большую лавку и прочно богател, но лавка сгорела вместе с домом; Спиридон Матвейч выдержал нужду, продал половину земли—спешно отстроился заново и купил колодезь. Говорят, на пожаре у него задохнулась дочка от первой жены, и он сам преждевременно бросил тушить двор, не видя смысла в имуществе без дочери. С того же года у него затмилось сердце—к людям он стал относиться резко и невнимательно, как к личным врагам.

Теперешнюю жену Спиридон Матвейч любил—Филат видел его скрытые заботы о ней,—но никогда не мог сдержать безумного нрава и бил ее неожиданно и чем попало, мучаясь и сжигая себя. Причина этого лежала не в виновности жены, а в глубоком затаенном горе, превратившемся в болезнь. Сам Спиридон Матвейч знал, что жена его добрая и красивая, и после избиения ее он иногда приходил в сарай и гладил лошадь, капая слезами на землю. Если Филат был близко, Спиридон Матвейч гнал его:

— Ты—выйди, Филат. Там мужики понаехали, а ты деньги упускаешь!

Филат выходил и видел бедного человека в солдатской одежде, горстью утолявшего жажду из лошадиного лотка.

Скоро лето смерклось окончательно и небо потухло за глухими тучами.

В одну пропащую ночь, когда земля, казалось, затонула в темном колодце, на том краю степи загудели пушки. Слобода одновременно проснулась, зажгла лампадки, и каждый домохозяин сплотил вокруг себя присмирившую семью.

Под утро стрельба смолкла, и неизвестная степь покрылась поздними туманами. В этот день слобода ела только раз, потому что будущее стало страшным, а дожидаться его хотелось всем безрассудно, и продовольствие тратилось экономно.

Вечером через слободу без остановки проехал конный отряд казаков, волоча четыре пушки. Некоторые казаки попили лошадей у Филата на колодце. Спиридон Матвееч им продал табаку и узнал, что казаки ехали домой, но Совет города Луневецка их с оружием не пропустил и приказал разоружиться. Казаки отказались; тогда Совет выслал отряд, и казаки приняли бой. Теперь казаки идут на Дон обходным путем—через суходолы и водоразделы, бросив населенные речные долины, где завелись Советы.

— А из кого эти советы набраны? — спросил Спиридон Матвееч.

— Кто их смотрел! — равнодушно ответил казак и сел на коня. — Говорят, там батраки и иногородние—всякая такая чужая сволочь!

— В роде него, что ль? — указал Спиридон Матвееч на Филата, на котором от ветхости разверзлась одежда.

Казак тронул коня и оглянулся:

— Да—подобная голь.

Попозднее долго звонил колокол церкви, собирая ко всеобщей печали всех опечаленных, всех износивших жизнь, всех, в ком смыкаются вежды над безнадежным сердцем. От свечей и скорбных вздохов через паперть шел дым и восходил вверх вянущим седым потоком. Нищие стояли двумя рядами и ссорились от своего множества, считая молитвы до конца службы. Грустное пение хора слепых выплы-

вало наружу и смешивалось с тихим шелестом умерших деревьев. Иногда слепая солистка пела одна—и покорность молитвы превращалась в неутешимое отчаяние, даже нищие переставали браниться и умильно молчали.

А после службы люди сразу забывались и переходили к едким заботам. Одна умная женщина, покинув паперть, уже совестила мужа:

— Эх вы, мужики,—только ноете с бабами! Взяли бы ружья, отесали колья,—да и пошли бы на деревню мужиков к закону приучать! А то у вас и хатенки поотберут, а вы все будете богу молиться да у чугуна толпиться: бабьи побздики, пра-во!

Но муж ее молчал и сопел, раздражая этим жену.

— Ух, идол ненаглядный!—свиrepела жена и с неотлегнувшим сердцем шла до самого двора.

Дома ямщик скорее ложился спать и отворачивался к стенке, считая бегущих клопов.

Спиридон Матвеич ходил в церковь очень редко, и то из любви к пению. А Филат совсем не ходил,—об'яснял, что одежды нет.

На дворе стало уже холодать—Филату трудно терпелось в сарае, пока ходила лошадь: никакая ушивка больше не держалась на прозрачных, сторовших от пота, штанах, а пиджак истерся в холодный лепесток. Но Филат видел, что за день хозяин от колодца выручает копеек тридцать—мужики совсем перестали ездить в слободу—и попросить на починку одежды стеснялся. Он знал, что если его Спиридон Матвеич прогонит,—ему конец: теперь никто не возьмет работника—все ямщики с потерей земли заплошали.

В одно утро Филат встал, вышел из кухни на двор—и весь свет для него переменялся: выпал первый мохнатый снег. Вся земля затихла под снегом и лежала в мирной мертвой чистоте. Надолго смирившиеся деревья опустили ветки и бережно держали снег; гулкий воздух стоял на месте и ничего не трогал. Филат сделал отметку подошвой на снегу и вернулся на кухню.

Было рано, хорошо и прозрачно. В такой час можно чувствовать,

как кровь трется в жилах, и особо остро переживаются те заглохшие воспоминания, где сам был виноват и губил людей. Тогда стыд поджигает кожу, несмотря на то, что человек сидит один и нет его судьбы.

Филат вспомнил мать, забытую в деревне, умершую на дороге, когда она шла спасаться к сыну. Но сып ничем не мог помочь матери—он тогда пас в ночном слободских лошадей и питался поочередно у хозяев. А жалованье—десять рублей в лето—приходилось на осень. Мать увезли с дороги обратно в деревню и там без гроба закопали добрые люди. После того Филат ни разу не был в своей деревне—за пятнадцать лет он не имел трех свободных дней подряд и крепкой одежды, чтоб не стыдно было показаться на селе. Теперь его на родине забыли окончательно, и больше не было места, куда бы добровольно тянуло Филата, не считая дома Игната Порфирыча.

В этот первый снежный день Спиридон Матвееч сказал, что лошадь надо продать—выручки с колодца нет, а сено дорого. Филат же должен искать себе новое место, а пока может жить на кухне, но харчей не будет—не те времена.

Филат притих. Когда ушел хозяин, он потрогал свое тело, которое доставляло ему постоянную беду от желания жить, и не мог никак очнуться.

Лошадь хозяин повел в деревню сам—и к вечеру вернулся один. Филат обошел круг, по которому топталась лошадь, и почти то же чувство тронуло его, что и в пустой хате на свалке, после ухода Игната Порфирыча.

Филат, ничего не евши, переночевал еще одну ночь, а утром пошел напрашиваться к Макару. Кузница стоялая холодная, и дверь ее наполовину утонула в снегу. Макар сучил веревку в сарае и разговаривал сам с собою. Филат расслышал, что: веревка не верба—и зимой растет...

Когда Макар увидел Филата, он и слушать его не стал:

— Хорошим людям погибель приходит, а таким маломощным, как ты, надо прямо ложиться в снег и считать конец света!

Филат повернулся к воротам и, неожиданно обидевшись, сказал на ходу:

— Для кого в снегу смерть, а для меня он—дорога.

— Ну, и вали по нем—ешь его и грейся!—с досадой закончил разговор Макар и перевел зло на веревку.—Сучья ты вещь, рваться горазда, а груз тащить тебя нету!..

Филат почувствовал такую крепость в себе, как будто у него был дом, а в доме обед и жена. Он уже больше не боялся голода и шел без стыда за свою одежду. «Я не при чем, что мне так худо,—думал Филат. — Я не нарочно на свет родился, а нечаянно, пускай теперь все меня терпят за это, а я мучиться не буду».

Дойдя до дома З. В. Астахова. Филат разыскал хозяина и сказал ему о своей нужде. Захар Васильевич слушал обоими глухими ушами и понял Филата:

— Вчерась. говорят, сторож на кладбище умер — сегодня к обедне звонить некому было: ты бы наведался!

Жена Захара Васильевича мыла посуду и услышала совет мужа:

— Да сиди уж со своим сторожем—дьякон сам лазил звонить,—ты стуху-то ничего не слышишь! Да и сторожа. Никитишна говорила, взяли—Пашку-сапожника.

— А? Какого Пашку? — спрашивал Захар Васильевич и моргал от внимания.

— Да Пашку-то! Сестра у него—Липка! — кричала жена Настасья Семеновна. — Мать-то он в прошлом году из могилы раскапывал—волоса да кости нашел! Вспомнил теперь?

— А!—сказал Захар Васильевич. — Пашку? Филат бы громче звонил!..

## IX

День еще не кончился, а от туч потемнело и начал реять легкий, редкий снег. Заунывно поскрипывала где-то ставня от местного дворового сквозняка, и Филат думал, что этой ставне тоже нехорошо живется.

Больше нигде Филата не ждали, и следовало только возвратиться Спиридону Матреичу на кухню и ятощак переночевать.

Филат подумал, что еще рано: ляжешь—не уснешь, и пошел на свалку.

Дом Игната Порфирыча стоял одиноко, как и в прошлый год. Только много дорожек к нему по снегу протоптано: то бродили нищие к обедне и к вечерне.

Филат остановился недалеко: внутрь дома его не пустили бы нищие. Под снежной пеленою ясно вздувались кучи слободского добра, а за ними лежала угасшая смутная степь.

Вдалеке—в развальнях, по следам старого степного тракта—схал одинокий мужичок в свою деревню, и его заводакивала ранняя тьма. И Филат бы сел к нему в сани, доехал до дымной теплой деревни, поел бы щей и уснул на душных полатях, забыв вчерашний день. Но мужичок уже скрылся далеко и видел свет в окне своей избы.

Филат заметил, что в доме кто-то хочет зажечь огонь и не может,—наверно, деревянное масло все вышло, а керосина тогда нигде не продавали. Дверь дома отворилась, изнутри раздался гортанный гул беспокойных нищих и вышел человек с пылавшей пламенем цыгаркой. Это он закуривал и освечивал окно. Человек с трудом неволил больные ноги по снегу и припадал всем туловищем. Дойдя до Филата, он вздохнул и сказал.

— Человек, сбегай за хлебом в слободу — я тебе дам пиматок—ноги не идут!

Филат оживел и помчался, а нищий присел на корточки, чтобы не мучить ног, и стал ждать его.

Когда Филат вернулся с хлебом, нищий позвал его в хату:

— Пойдем погреться. Я тебе ножиком хлеб поровней отрежу; что ж ты тут один стоишь!

В хате было темней, чем наружи, и воняло ветхой одеждой, прсющей на нечистом теле.

Филат никого не мог разглядеть—сидело и лежало на полу и на скамейке человек десять, и все говорили на разные голоса.

Нищие уличали друг друга в скрытности и считали,—кто сколько сегодня добыл.

— Ты мне не рассказывай, шлюха, я сама видела, как она тебе пятак подавала!..

— А я сдачи дала четыре, плоскомордая квакалка!

— А вот и нет, уж не бреши! — Женщина повернулась и ушла.

— Ах ты, рыжая рвота, да у меня ни одного пятака нету—вот поди сыщи!

— А зачем ты бублик жевала, сладкоежка! Вот пятака-то и нету, матушка!

— Молчи, вошь сырая! А то как цокну в пасть, так причастие и выйдет наружу!..

И одна женщина поднялась, судя по голосу,—молодая и здоровая. Но тут зычно треснул чей-то мужской голос:

— Эй вы, черти-судари, опять хлестаться? Уймись! Свету дождемся, тогда я вас сам стравлю!

— Это все Фимка, Михал Фролыч! Она меня сладкоежкой ругает, что я бублик за год съела—жаловался тот же свежий голос.

— Фимка!—гудел Михаил Фролыч.—Не трожь Варю: она не сладкоежка: сходит на двор—не увезешь на тележке!

Нищие захохотали, как счастливые люди.

Филат стоял у порога и слушал голос того, кого Варя назвала Михаилом Фролычем. Но больше Михаил Фролыч ничего не говорил.

Вдруг у Филата вспыхнула вся душа, и он без памяти крикнул:

— Игнат Порфирыч!

Нищие сразу замолкли.

— Это что за новый опорешник явился?—спросил в тишине голос Михаила Фролыча.

— Миша, это я!—сказал Филат. — А где тут Игнат Порфирыч?

Миша подошел к Филату и засветил спичку:

— А, это ты, Филат? Какой Игнат Порфирыч?

Филат ослабел ногами и слышал работу огромного сердца в своем пустом теле. Он прислонился к стене и тихо сказал:

— А помните, мы жили тут втроем зимой?

— Ага, ты про Игнатия спрашиваешь? — вспомнил Миша. — Был такой, да куда-то заховался—со мной его нету.

— А живой он теперь?—покорно спросил Филат.

— Если не лег где-нибудь, то живой стоит. Что он за особенный?

Миша отвечал скупю на вопросы, и Филат начал стесняться спрашивать больше. Скоро Миша лег на пол в углу, подложил под голову локоть и задремал. Филат не знал, что ему делать, и жевал хлеб старого нищего.

— Ложись с нами, молодой человек!—пригласила Варя. — На дворе стыд наступила. Прихлопни дверь—и ложись. Завтра опять нам ручкой пряться и лицом срамиться. Ох, ты жизнь—мамкина дура.

Варя еще побранилась немного и затихла. Филат прилег боком около Миши и мертвел до белого утра.

Миша поднялся рано—прежде нищих. Но Филат уже не спал.

— Ты куда, Миша?

— Да ведь я по делу, Филат. Вчера пришел—ночевать нетде, вот и стал на старом месте. А сегодня я далеко должен быть.

— А где? — спросил Филат.

— До Луневецка должен бы дойти. Там Игнат Порфирыч меня дожидается... Кадеты поперли насмерть—наемлу допросился в губернии подмоги.

Миша внимательно запаковал сумку, запахнул шинель и сказал Филату:

— Ну, ты пойдешь, что ли? Игнат Порфирыч поминал тебя... Успеем ли их целыми застать — казаки всю степь забрали. Хоть бы отряд не застрял — в губернии обещали сегодня послать. Набрешут, идола,—у самих крутовня идет...

Миша подошел к Филату, одернул на нем измятый пиджак и вспомнил:

— Вчерась я тебе ничего не хотел говорить: думаю, на что ты



нам нужен. Да проснулся ночью, поглядел, как ты спишь—и жалко тебя стало: пусть, думаю, идет—пропадает человек.

Оглядев место ночлега, чтобы ничего не забыть, Миша тронулся. Филат—за ним и забыл про дверь.

Варя сразу почувствовала холод и от досады проснулась:

— Дверь оставили—чортовы меренья!

1926.

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Происхождение мастера . . . . .	5
2. Епифанские шлюзы . . . . .	65
3. Сокровенный человек . . . . .	99
4. Город Градов . . . . .	177
5. Ямская слобода . . . . .	211



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ФЕДЕРАЦИЯ“

Москва, Центр, площ. Свердлова, Копьевский пер., 3. Телефон 4-46-74.

---

*ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:*

**АДАЛИС, А. Песчаный поход.** Очерки. 136 стр. Ц. 1 р. 10 к.  
**АКУЛЬШИН, Ф. Следы.** Рассказы. 190 стр. Ц. 1 р. 10 к., перепл. 20 к.

**ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК, П. Голубой дым.** Роман. 292 стр. Ц. 1 р. 75 к., перепл. 20 к.

**НИКИТИН, М. Путь на север.** Очерки Туруханского края. 158 стр. Ц. 1 р. 20 к.

**НОВИКОВ, А. Причины происхожд. туманностей.** Любительское исследование беспокойного человека. 232 стр. Ц. 1 р. 50 к., перепл. 30 к.

**НОВИКОВ, Ив. Пространства и дни.** Рассказы. 272 стр. Ц. в перепл. 2 р. 45 к.

**ОГНЕВ, Н. Собрание сочин. т. III. Дневник Кости Рябцева.** Книга первая. Дневник дополнен новой главой «Разбойничий форпост». 294 стр. Ц. 1 р. 50 к., перепл. 30 к.

**РУДИН, И. Содружество.** Роман. 304 стр. Ц. 2 р. 60 к. пер. 30 к.

**ТАРАСОВ, А. Будни.** Повесть. 144 стр. Ц. 85 к.

**ШАБАЛИН, Б. Расплата.** Повесть. 126 стр. Ц. 50 к.

**РЕМАРК, Э. На западе без перемен.** Автор. перев. с немецк. С. Митежного и П. Черевина под ред. А. Эфроса. 300 стр. Ц. 1 р. 10 к., перепл. 30 к.

**УНАМУНО, М. Три повести о любви.** Вступит. статья А. Эфроса. Перев. с франц. изд. М. Коваленской. 174 стр. Ц. 1 р.

---

**ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:**

**В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА**

Москва, Центр, Богоявленский пер., 4, и во все магазины и отделения Госиздата.